



Олег Лукошин

СГУСТКИ

Роман

Олег Лукошин
Сгустки. Роман

«Издательские решения»

Лукошин О.

Сгустки. Роман / О. Лукошин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-748924-3

Мама хорошая, добрая. Это ничего, что она задушила Андрюшу, едва тот появился на свет. Зато она его любила. Вопреки всем законам природы её сын всё-таки проживёт предначертанную ему жизнь — и даже не раз, а в паре десятков инкарнаций... «Сгустки» Олега Лукошина — это шок, трепет и полный вынос мозга. Будьте осторожны — мозг может не восстановиться.

ISBN 978-5-44-748924-3

© Лукошин О.
© Издательские решения

Содержание

Часть первая: Он	6
Рождение легенды	6
Обретение прошлого	8
Тлен	15
Тризна	24
Забывшие чувства	29
Отторжение настоящего	34
Неплохой конец для любовной истории	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Сгустки Роман

Олег Лукошин

© Олег Лукошин, 2018

ISBN 978-5-4474-8924-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая: Он

Рождение легенды

– Мама! – спрашивал её мальчик, – ты любишь меня?

Почему-то, сама того не понимая, она медлила с ответом. Потом пугалась вдруг своей медлительности и поспешно отвечала:

– Конечно, Андрюша, конечно, сынок, я люблю тебя.

– А ты будешь любить меня всегда? – снова задавал он вопрос, неотрывно следя за ней. Голос его дрожал, он был бледен, казалось даже – болен. – Я хочу, чтобы ты любила меня всегда. Чтобы любила и никогда не переставала любить! Всегда – всегда, целую вечность!..

«Почему, – думала она, – почему всё так печально вокруг, так тоскливо? Пусть бы даже печально, пусть бы даже тоскливо, пусть, раз мир не может быть иным, сущность его такова и никогда не дано ей измениться. Не почему же, почему обладаю я способностью ощущать эту печаль? Почему задумываюсь вдруг и, осознавая свою тщетность и ничтожность, пытаюсь разумом своим, вибрацией его порвать оболочку неопределённости? Почему? Я должна быть легка, я должна быть воздушна, я не должна обладать мыслями и чувствами. Я должна лишь свободно нестись по течению, не задумываясь ни о чём, ни о чём не печалюсь. Кто одарял меня этим страшным умением – умением осознавать саму себя?.. Я хотела бы исчезнуть, исчезнуть навечно...»

Она часто просыпалась ночами и, сдерживая дыхание, созерцала спящего рядом сына. Обвив её ручонками, он сопел и всхлипывал во сне, а лобик его покрывался капельками пота. «Как может быть, – вертелось в её голове, – что существо это – моё собственное? Что именно я сотворила его из безжизненности? Может ли быть оно настоящим?» Почему-то хотелось вскочить в этот миг и бежать сломя голову. Бежать и захлёбываться в бушующем ветре, бежать и спотыкаться о кочки, бежать и краем глаза видеть светящиеся пятна где-то сбоку. Видеть иди представлять их себе?

Он был добрым мальчиком, добрым и красивым.

– Жаль, – говорил он ей, – что ты взрослая тётенька, а не девочка такого же возраста, как и я. Как было бы это здорово! Мы бы играли вместе, гуляли вместе. Мы взяли бы за руки и пошли куда-нибудь вдаль, в страну темноты и страха. Всякие гадости встречались бы нам на пути – ящеры, змеи, драконы – они пугали бы нас. Ты бы боялась, а я нет. Я защитил бы тебя, а их всех – победил. Потом мы снова бы шли, мы шли бы и вышли наконец в страну света. Мы бы обрадовались тогда, мы бы стали любить друг друга, а я бы женился на тебе. Мы были бы счастливы...

Мама обнимала его, целовала несчётное количество раз и срывающимся голосом бормотала:

– Глупышка ты мой маленький. Я ведь и так люблю тебя.

«Мне тяжело, – рождались в ней слова, – мне невыносимо тяжело. Хочется тишины, хочется покоя. Хочется безбрежности и незыблемости... Я замерла, я ничего не слышу, не вижу ничего, не чувствую – обман, тьма давит и гнетёт. Я больна может...»

Умертвила она его просто – спящего, ночью. Он лежал на кровати, свернувшись калачиком... Мама долго потом, широко раскрыв глаза, смотрела на его мёртвое тельце и не могла разжать пальцы, вцепившиеся в шею мальчика. Она хотела податься назад, ослабить хватку рук, вздохнуть глубоко и свободно, но тело не слушалось её – оно оцепенело, застыв неподвижной глыбой. Она могла соображать, однако. Вялые мысли вертелись в голове, а губы шептали нелепую фразу:

– Я буду любить тебя, Андрюшенька. Я буду любить тебя всегда! Живая ли, мёртвая, но буду любить всё равно. Всегда-всегда. Целую вечность...

Обретение прошлого

Надо ли, спросишь ты?

Просто знамения врываются, игнорировать их невозможно. Дверцы скрипят, я вынужден отправиться вслед за тревожностью. Желание отсутствует, но гордость вынуждает. Она коварна, эта гордость.

Будь рядом, удача коснётся нас, мы непременно прочертим линию.

В палате, рассчитанной на шестерых, их лежало лишь двое. Соседке было за сорок и рожала она уже четвёртого. Почему-то все расспросы о предыдущих родах – производимые исключительно из вежливости и из желания хоть как-то развеять царившую в роддоме скуку – она относила на счёт боязни своей сопалатницы предстоящего события. Эта полная краснощёкая баба охотно рассказывала о своём богатом опыте, рассказывала подробно, а подчас – чересчур. Всё время смеялась и пыталась смешить соседку.

– Да ну, брось, – проникновенно говорила она девушке, – ничего тут страшного нет. И не переживай даже, и не волнуйся – все через это проходят.

– Я и не волнуюсь, – отвечала она.

Большую часть времени она смотрела в окно на покрытые инеем деревья. Морозы в то время стояли сильные, трескучие, часто мели метели – она любила такую погоду. Белизна, царившая снаружи, завораживала.

Роддом был почти пуст. Две девушки лежали в соседней палате, а ещё одна – почему-то в отдельной комнатке в другом конце здания. Она завела было знакомство с соседками, но те оказались до ужаса глупыми. Поговорить с ними было совершенно не о чем.

Иногда она почитывала книжку, но это утомляло и со вздохом девушка откладывала её в сторону. Краснолицая соседка тотчас же подавала голос:

– Да не волнуйся ты, господи! Не думай даже об этом.

Ещё она ходила смотреть с медсёстрами телевизор. Он тоже не развеивал её, но зато с ним было легче убивать время. Человечки в нём двигались, разговаривали, смеялись – а минуты летели.

– Что к тебе твой не приходит? – спрашивали её медсёстры.

– Он в отъезде сейчас, – объясняла она. – Далёко отсюда.

– Что же, ребёнок родится – а он не приедет?

– Работа такая, что поделаешь.

– А-а-а, – понимающе кивали они. Работа была веским доводом.

Ей хотелось побыстрее уехать отсюда. Она и не думала, что так долго задержится в роддоме, но шёл уже четвёртый день, а малыш всё не хотел вылезать. Ночью того дня рожала рыжая девушка из соседней палаты. Рожала на удивление долго – чуть ли не всю ночь. И что самое неприятное – всю ночь орала. Утром выяснилось, что родила она двойню, но и выспаться в честь этого события никому не дала. Добродушная соседка, тоже не спавшая, нет-нет, да и вставляла:

– А батюшки, разве можно так кричать!.. Ты не слушай, не бери в голову, это с ней что-то необычное. Не бойся, всё будет нормально. Это я тебе говорю.

– Да с чего вы взяли, что боюсь я? – возмутилась наконец она.

– Так видно же, видно.

– Не то вы что-то видите... – бросила она в сердцах, отворачиваясь к стене.

На следующий день наконец-то началось и у неё. Был пятый час дня, уже смеркалось. Она подошла к медсестре и объявила, что у неё пошли воды. Та отвела её в палату для родов и едва акушерка успела надеть перчатки, как малыш стал усиленно пробивать себе дорогу.

Особо больно не было, вполне терпимо. Ей всё же вкололи обезболивающее. Сердобольные медсёстры подбадривали её, что-то ласково бормоча. Прищурившись, она смотрела в потолок, на операционную лампу. Свет от неё исходил хоть и не резкий, но всё же неприятный. Он застилал глаза туманом, в тумане плавали лица медсестёр и ей совсем не хотелось этого тумана – она моргала, плотно закрывала веки, разжимала их резко. Наконец повернула голову набок – лицо упёрлось в халат одной из медсестёр, но так было лучше вроде.

Сами роды длились не больше часа. Она увидела то существо, что выделилось из неё, склизкое, сморщенное. Ей торжественно объявили:

– Мальчик!

Он заорал, этот мальчик, заплакал. Его мыли, вытирали, перетягивали пуповину и плач этот резал слух. Ей дали поддержать его. Она поддержала – прижала к груди, поцеловала куда-то в складки лица, постаралась улыбнуться. Потом сына забрали. Укутали, повесили на руку бирку и увезли.

– Как назовёшь? – спросили у неё.

– Андреем, наверное, – ответила она.

Закончили с ней самой. Промыли, почистили и тоже отвезли к себе в палату. Чувство лёгкости было необычайное. Ужасно непривычное. Она трогала свой живот – он был тощий, впалый, это смешило.

– Сильная девчонка! – сказала про неё акушерка, умывая под краном руки. – Не вскрикнула даже ни разу!

«Не правда ли – ужасно чувствовать череду за спиной? Шевелишься, двигаешься – она тянет, сдерживает. Обернёшься же – не видно».

«Да, мне всегда приятнее было думать о себе как о единственном в значимости».

«Отрешившемся?»

«Не знаю... быть может. В конце концов всегда хочется разделения. Бессвязности, слепоты даже».

«Замкнутость трагична, единичность опасна. Во множественности – надежда. Были те, кто отворачивался, но раскаивались впоследствии. Течения влекут».

«В безвозвратное».

«Возвращаться – лишь свойство разума. К отжившему не вернуться. Моменты застыли и отмерли. Краска сохнет и тянет сквозняками. Некоторым удаётся удерживать, но себе же во вред».

«Порой думается – а надо ли вообще – и отвечаешь себе: да не надо же – но так лишь краткость малую. Потом снова внимаешь жадно».

«Старания – не даром, буйства – не в тщете».

«Остановки – есть ли они в плане передвижения?»

«Редкие, да и недлинные. Я знаю, тебе хочется конечной – её не будет. Просто необходима повторяемость – раз за разом, и чтобы всем и каждому. Обольщение пережить обязаны».

«Я подумывал, рад. Всей важности всё же не поведаешь мне. Всю глубину и широту не распахнёшь».

«Вот и нет. Вся важность, глубина вся и значимость – станут твоими, и без ревности. Будет, будет нечто, что в обход, но ты попробуй догадаться. Вдруг получится».

Тот вечер чуден был необычайно. Погода, более двух недель приносившая одни разочарования, сжалилась вдруг. Нудный морозящий дождь прекратился, пелена туч развеялась и долгожданным и милым гостем появилось на небе солнце. Сияло оно отчаянно, посылая последние волны тепла перед тем, как остыть на несколько месяцев. Улицы буквально за какие-то часы подсохли и стало даже жарко. Одинокий самолёт вычерчивал в небе бесконечную белую

полосу. Подёрнувшаяся желтизной листва шумела, птицы чирикали, а люди радовались чему-то.

Они вышли прогуляться, она взяла его под локоть, они двинулись вдоль домов. Вниз по улице.

– Опять толкается... – сказала она. И взглянула на мужчину. Наивно, восторженно. Глаза её блестели, на губах блуждала улыбка.

– Скоро уже, скоро, – усмехнулся тот.

Побуждение: побуждать, побудить – такие производные. Цель светла и кругла, она на чёрном. Надо сжать кулак, сильно, очень сильно, разжать потом, затем снова сжать, до боли чтобы. Энергия накопится и не будет улечиваться. Секунды какие-то, но этого достаточно.

С ними здоровались – их тут знали почти все. Она отвечала на приветствия весело, он же – сухо, как, впрочем, и всегда.

У магазина он остановил ее.

– Подожди-ка, – высвободил руку, отстранился.

– Ты чего? – улыбалась она.

Он не сдержался, тоже улыбнулся.

Потом ударил её. Она отпрянула, закрыла лицо руками. Сквозь пальцы виднелись её глаза – испуганные, затравленные.

Он бил её ещё. Поначалу она держалась на ногах, потом не устояла – упала. Завалившись на бок, тяжело и грузно рухнула на землю. Закричала, забулькала горлом, закашлялась. Живот её, казалось, зашевелился: завибрировал, пошёл буграми. Мужчина прыгал вокруг, бил ногами. Она каталась по земле, уклоняясь. Вся в грязи.

Он нагнулся к ней. Она замерла и, продолжая закрываться, ждала. Он опустился на колени. Поцеловал её. Потом ещё, ещё и ещё раз. В губы, в щёки, в глаза – куда попадал. Он целовал и шептал:

– Это неправда. Это неправда, что я не любил тебя. Я любил, любил твою сущность, твоё тело, но не так, как любят все. Чёрт возьми, они не любят, они не могут! Но особо, но лишь так, как мне завещано.

Ей удалось вырваться. Откатившись, она вскочила на ноги и побежала. Живот мешал – передвигалась она тяжело. Мужчина не бросился за ней, остался где был. Поднялся было на ноги, но они не держали – он медленно осел, прямо на клумбу. Вокруг стояли люди и молчаливо смотрели. Он окинул их взглядом – они жались, некоторые пятились.

«А ведь они хорошие, – подумал он. – Сами по себе, сами в себе. Они тоже робкие и слабые, они тоже нежные и восторженные, иногда они плачут. Окружающее, этот лживый мир, дурманит их мысли, извращает их чувства, ожесточает их души. Но они хорошие, хорошие...»

Грязная, растрёпанная девушка с животом взирала на него издалека.

– Ну что же, – оскалился он ей и им. – Убейте меня, хорошие люди...

«Воплощение желаний и помыслов, возникновение сущего – это тревожит ум. Беспокоит душу. Провоцирует на фантазии».

«Оно и есть фантазия. Большая, мерзкая фантазия. Дрожит в чем-то воображении, никак не исчезает, а оттого распускает зловония».

«Очень близко к правде».

«Любая мимолётность – она весома».

«Яви не всем позволяют прикоснуться к себе. А раскрываются – в безнадежности».

«Пусть оно перемальвается, пусть исчезает, в самом слове даже что-то ужасное – прошлое».

«Оно всё же сущее. По крайней мере кажется таким. Власть его всеобъемлюща, как не отрекайся – преследовать будет постоянно, без устали. Догонит однажды, накроет. Сметёт – тогда, возможно, и иное явится вместо привычного. Но так страшнее подчас».

«В яви его сомневаюсь. Оно – отмершее, оно – дымка. Но сила... сила действительно огромна. И жалости ждать не приходится – верю тому».

«И в нечто большее, смею думать».

«Во что же?»

«В присутствие возможности. Возможности, ты понимаешь меня?»

«Понимаю, но ты не прав. Я не могу верить в возможность. Отсутствие её – краеугольный камень. Пути закрыты, лазейки – если и были таковые – замазаны. Безверие и злоба внутри – ведь таким ты вскармливал меня».

«И всё же ты веришь. Надежда – гнусное колыхание – оно не может не существовать».

«Оно не существует».

«Я создаю его. Но я не властен над всем. Подчас сферы расходятся, образуются зазоры; при правильном построении среди них можно вынашивать стремление».

«Зазоры, пустоты, вероятность верных стремлений – всё это всего лишь огранка. Грани, оттачивай – внимаю».

«Неровности сглаживаются, плавности замыкают оси. Окружности ласкают. Видится кому-то сгустками, а на деле – в цельности».

Ночь была душная и тёмная. Окно приоткрыто, но свежести не чувствовалось – воздух горяч и тяжёл. Было совсем тихо.

– Мне трудно будет начать, – сказала она, когда он прикоснулся к ней.

Захотелось почему-то сжаться, укутаться в простыню, скрыть свою наготу от его пристального взора. Он сказал:

– Я бестелесен, я воздушен. Я – чистый дух, я летаю по стенам, раскачиваю занавески, проношусь сквозняками по потолку. Я прячусь в твоих волосах, скидываю чёлку на глаза, а ты нехотя убираешь её. Я забираюсь под одежду, скольжу по спине, обдуваю ягодицы, струюсь по ногам. Ты поёживаешься и смущённо улыбаешься.

Глаза она закрыла сейчас. Колыхания возникли, звуки тоже стали доноситься – сначала мелькали пятна, но затем пришла стройность. Образы ожили, наполнились содержанием. Смыслом. Дальше она продолжала сама:

– Бормочу: «Не здесь, не здесь...» Он спрашивает – где же. Где же и когда наконец. Когда явное, большое, когда – лишь этого хочется ему. Я же не отвечаю определённо, лишь интригую неопределённостью. «Может быть и сегодня. Если вести себя хорошо будешь...»

Мужчина трогал её груди. Руки его были холодны почему-то и крохотные мурашки возникали на коже от его касаний. Она шептала что-то – рот был приоткрыт и губы медленно шевелились, складывая звуки в слова. Разобрать её шепот было несложно.

– Он ведёт себя хорошо какое-то время. Лишь как бы невзначай овеивает лицо, но иначе он не может – я возмущаюсь, но мне приятно всё же. На реке забывает о своём обещании. Начинает шалить, пускать волны и окатывать меня брызгами. Это не я, оправдывается. Это река бурная. Тихо всхлипывает, то шумом листвы, то пением птиц. И ветерок – очень нежный – это тоже он.

Мужчина прикоснулся к ней губами. К животу, к шее, к подбородку. Она была очень горячая – должно быть даже румянец выступил сейчас на её щеках. Она держала в ладонях его гениталии.

– Я притворяюсь немножко – я совсем не такая строгая. Не такая суровая, какой кажусь. «Ты не думай, – говорю я, – что я не люблю тебя. Ты мне нравишься, очень-очень». Я забираюсь в стог сена, прячусь от него, зарываюсь вглубь, он же ищет меня. Находит быстро – про-

сачивается сквозь травинки и обнимает теплом. Я бегу, и он тоже несётся следом. Он сзади, по бокам, он залетает вперёд. Волосы мои развеваются на бегу, юбка бьётся о ноги. Он буйствует, свистит, закручивает воздух в спирали. Я закрываюсь руками и смеюсь.

Она действительно засмеялась. Мужчина вздрогнул. Всмотривался в её лицо пару секунд, потом отвёл взгляд. Раздвинул её ноги. Положил ладонь на лобок, затем стиснул его – сильно, грубо. Кончиками пальцев поводил по губам. Приблизил бёдра к её промежности и стал отыскивать дорогу.

– Целует, заглядывает в глаза. Я люблю тебя, говорит. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты всегда была моей. Моей любимой, моей супругой, моей судьбой!.. На старой мельнице всё же добывается своего. Уже ни сил, ни желания нет у меня сопротивляться. Я раздеваюсь догола, ложусь на ветхие мешки с соломой и позволяю ему делать всё, что заблагорассудится. Колкими сквозняками он трогает мою грудь, струится по ногам, пускает дрожь в ягодицы. Потом входит внутрь. Холодной струёй втискивается в тело, но через мгновение горячее вдруг. Я чувствую огонь – он бьётся и обжигает. Он дурманит и рождает иллюзии. Ветхие стены мельницы отекают и превращаются в мраморные колонны. Над ними, в вышине, скручивается кривыми бороздами небо. Молнии пронзают воздух и маленькие печальные существа с мудрыми лицами взирают на нас задумчиво...

Закончив, он слез с неё. Поднялся с кровати, сходил в туалет. Она открыла глаза, всматривалась в темноту, поёживалась. Испуганно вздрагивала. Когда он вернулся, опросила:

– Ты всё сделал?..

Он лежал на спине. Смотрел в потолок.

– Угу, – отозвался. – Скоро у тебя будет ребёнок.

А потом, помолчав, добавил:

– Домой мы идём неторопливо. День клонится к закату, солнце торопится спрятаться за горизонт и налитые зерном колосья тянутся к земле. Скромная, тихая радость сквозит в воздухе, мы оба чувствуем её и так же тихо радуемся. Мы счастливы, наверное.

«Магия движений и звуков – это она даёт простор воображению. Чувствуешь: тихие вздрагивания, нелепые дуновения, а сколько смысла в них!»

«Они сами, буравя пласты, отыскивают нужные отсеки. Окисляют нужные металлы, впрыскивают необходимые жидкости. Реакция бурлит, пары вырываются наружу и дыхание обретает значимость».

«Кипящие породы и мне видятся первоосновой».

«Связь существенна. Мне не стоит забываться, ведь я не сам по себе».

«Мои чресла расслаблены, я не осуществляю толчков. Я лишь задумываюсь и желаю».

«Задумываться и желать – они и мои единственные добродетели. Не приносящие, однако, благодати и ценности».

«Ступени разнятся, ниши впускают требуемых. Я вполне могу представить кого-то над. Я не чувствую нитей, не слышу треска, но представить могу. Могу».

«В этих сферах бутоны произрастают не для меня. И нити, и треск, и смрад – вот они. Ты назовёшь это, должно быть, отдыхом – ожидания не гнетут и возможность столкновений не пугает».

«О да, это отдых. Истома сама отдаётся во владение, умиротворение полно. Отсутствие способов – величайшая благодать».

«Я оценю это, обнаружив хотя бы один».

«Я дам их тебе множество. Разнообразных до немыслимости».

«Подозреваю, все они будут с изъясном».

«Оно и есть – действенное. Надо просто совместить зазубрины».

«Ты конечно лукавишь».

«Лукавлю?.. Конечно».

Оно просочилось сквозь плотность, создание.

Двое сплелись в замысле, биение нарастало, звоны усиливались – образовался код. Сигнал был явен и нёсся к границам, ожидающие его дали добро.

Выход в запредельность находится внутри. Когда план приведён в исполнение, деятели Застывшей Вселенной позволяют одной из сущностей проникнуть в женщину. Существует коридор, пересылка осуществляется по нему, она возможна лишь в особое время, когда последняя из долей секунды останавливается и создаёт вибрацию. Сущность, заранее освобождённую, приближают к выходу; мгновение приходит и сила, называемая здесь причинностью, а в Слепящей Реальности – желанием, всасывает её в себя. Так происходит осуществление.

Сущности лишены в Застывшей Вселенной сознания и рассуждать не могут. Перемещение их видится порой деятелям как радость, и совпадение кода замысла с собственным ожидается нетерпеливо. Порой представляется иначе: осуществление для них – то же наказание и мука пребывания в Слепящей Реальности не сравнима ни с чем. Покой оставляет их там, гнёт и уныние поселяются в переплетениях, и возвращение назад – величайшее счастье для них. Рассуждения те, однако, лишь пустая тщета – деятели равнодушны, судьба сущностей волнует их мало, они лишь мрачные слуги, безропотно выполняющие свои обязанности. Всю нетленную бесконечность несут они свою службу, запуская сущности в коридоры. Ползают меж сот, проверяя их герметичность. Аморфные сущности, растекшись, ожидают там своей очереди. Они статичны и пусты. Деятели непонятна возможность их существования в Слепящей Реальности, сущности для них – те же мёртвые конусы, требующие лишь повышенного внимания и ухода. Расположенные ровными рядами, соты ласкают их тщеславие, правильность – функция их деятельности. Сдвоенность давит, колебания основ неприятны порой и тревожны. Волны перекатываются, оболочки сталкиваются и норовят лопнуть. Бывало, что лопались. Это считается страшным, ибо связь с Будущим прерывается. Ей почему-то дорожат, как единственной данностью возможно, хотя в Будущее верят мало. Бесконечность не являла его ещё, хотя сопутствующие проявления будто бы имели место. Открывались проходы в вышине, образовывались впадины в низинах, но всё это будто бы, всё это будто бы. Будущее – миф, но связь с ним иметь положено, так спокойнее. Прошлое обретено, скомкано, пережёвано и отхаркнуто; Настоящее – бесконечный миг – длится размеренно и бестрепетно. Деятели – слуги настоящего.

Застывшая Вселенная не имеет конца, Слепящая Реальность – вроде бы тоже. Конечность видится порой как идеал, как высший абсолюте, но как и всякое совершенство, едва становясь таким, тут же обращается в непостижимость. Оттого унылая бескрайность раздвигает вширь, раздвигает постоянно и готова делать то и впредь, но как ни раздвигаешься, всё равно ничтожен и жалок в том безбрежном океане.

Смотрители появляются в обличии редко, как правило наблюдают переливами. Они строги и чопорны, деятели боятся их. Великая Мудрость, к которой имеют они якобы доступ, стоит за ними, стоит, взирая и пугая неизвестностью. Смотрители вольны в своих поступках, но лишь до некоторой определённости. Да, им позволено и они имеют силу перемещаться меж гроздьев, но даже деятели знают, что они – не высшие в иерархии. Им подвластна пустота, однако; пустота – так принято определять эту субстанцию. Для знающих же, для избранных, она – всеобщность. Она – единая суть. Она подвижна и наполнена зарядами, они – словно сгустки энергии, да энергия и есть собственно, но цельная, но пластичная. Заряды бушуют, громы страшны и ужасны; порождений лишены и передвижением задействованы, верим в подвижность. Сквозь обручи, кольца – влага застыла и пар не выделяется уже, как в верность когда-то и всё снаружи.

Хранители сути – они где-то за чертой предвечного. Никому не известны, никем не осознаны. Они – правители явей и распорядители течений. Время – реальное и вымышленное – сквозит меж их волокон, обдувая и колебля. Задуманность, предреши́нность – она в пределах их достижений, будто бы иногда они касаются её, изменяя направленность. Стрелки колеблются и выдают показания. Но то бывает редко, да и бывает ли? В чашах тревожности настаивают они эликсиры, называя одни пороками, именуя другие добродетелями. Сливают те жидкости в отстойники, ручейки бегут и просачиваются, она всё же не так плотна, эта плотность. Образуют истины в мирах запредельности. Слепящая Реальность – один из них. Нити сплетаются, а хранители стараются – в узоры, призрачность их и дикое изящество – главные критерии. Стихии рождаемы ими, воплощаемы их волей и желанием, зачастую – их леностью. Суты – вместилища разума и материи – переданы им когда-то, может отвоёваны, но вряд ли созданы. Создатель их неизвестен причинности, существование его недоказуемо, возможно – и не было вовсе такого. Спаривающиеся горизонты заслонили видимое, за невидимое не в ответе, спрос не скоро; отдаляясь, дрожа, исчезая... исчезая вернее даже. Может быть – не возникая. И не действуя – но то лишь как вероятность.

Но над всем – Владелец Великой Мудрости.

Колючая зыбкость в красочности пятен, ничего, побудь слева, там светлей и словно обдувает; игрища похоти и наслоения растут, их отдирая бредишь целостность – но оставив так, позволяешь буйствовать. Защемления, и плоть прикована, остриё вгрызается, а после хруст – ну зачем же, зачем – оно и так беспомощно и робко. Почувствуй гладь, она меняет наклоны, подчас врезается яркое, но углы заслоняют, удержаться нелегко. Внизу – скручивание, темнеют, о ней жалеешь тяжко, о той ушедшей белизне, что так ласкала взор, пусть, однако, – предопределённому позволим сбыться. Вот и квадраты. Грани равны, но так всегда, и где же обещанный шквал? Та скомканность, сжатость, с вкраплениями и уколами – её отбросили. Втоптали и больше не вспомнили. То вообще невозможно, ты пытался? – как же, лишь в круговерти, и шары по периметру вращаются и словно общая ось. Одна к другой, а ещё центральная. Значит ветры, им дано, им позволено, они сильны. Прощание – но недолгое, озарение – но краткое. Великий Владелец Великой Мудрости – мы здесь, мы жаждем! И разрубив, разрушив, обретает успокоение. Сочное выжато, струи стекают ещё, подставляй, подставляй, облизнув – прочувствуешь. Дуги, снова дуги, а как яростно, как звонко, не попасться бы, Обдувай, успокаивай, владей, отдаваться приятно, тебе – вдвойне. Стойкость момента, прочность начал – вот они, те стены, к которым стремились так долго. Непрошено, злобно – но пусть ведают, мы сильны порой и мстим. Знали, как не знать, чувствовали точно, и когда линии сближались, жалобно скулили. Она должно быть жива, должно быть мучается и источает тепло. Сосуд прозрачен и можно разглядывать – но издалека. Вблизи – опалит. В скромности, в нежности – так и есть, и было, и будет, только не дано достигнуть. Завлекательно, приятно, весьма признательны, дорога уносится ввысь, извивается. Что же твоя высшая мера? Пусть двери открыты, и сады благоухают, но иглы остры, небеса темнеют и горы зловещи. Бездонные колодцы, хлебали допьяна. Валуны, и по ним, сферы сливаются в одну, но дробятся большим количеством. Та же гладкость и хотение, пропасти по бокам, геометрия в действии, но споткнись – стыд, и горечь горька. Вершины в дымке и туманы застилают, но поводыри не позволят. Штили, поднебесье заказано, ожидает, готовится. Вот оно уже, вот, совсем скоро. Два поворота и взметнуться. Пусть пауза, но потом – громогласно.

Что мне в тебе, Великая Мудрость?

Тлен

Лицо дрожало в зеркале, глаза мигали. Опустить их – на руках пена и вены, такие большие. А почему так удивительно? Даже страшно. Двигается, зевает, улыбается. А глаза, глаза! Чудно, но смысл есть. Есть чувство, а что такое – линии, круги, точки. В цвете. Уши сморщенные, росли долго, ужас – овал и уши. Волосы рассыпчаты, тысячи, каждый врос, каждый впивали. И видится – шевелятся, шумят, разговаривают. Сплетаются и умирают. Нос не отсюда, его – по ошибке. Две дырки, длинный, кривой, если саблей, с размаху, ловко – отскочит. Красные полосы. Не хочу красные. Белые хочу, чёрные. Разомкнёшь – и провал. И клокочет, шумит. Камень – раз, два, три, четыре, пять, шесть... сожми, сожми крепче. Хрррр – вот они, они белые, кривоватые. Полосы красные, а они белые. Ха-ха, неправда, обман. Глаза ещё не готовы. Они недоварились. Они студенисты, замерзают порой, но не в кондиции. Они будут просто коричневые. Монолитные, коричневые. Два пальца воткнёшь, помешаешь. Оближешь. Потом зарастут, окаменеют – их не должно было быть, надо чувствовать сердцем. Порхать, между магнитными точками, сквозь них – тяжело, непривычно. Абстрактен, существо не моё. Сгусток, аморфный туман – он колышется, перемещается ветром. Чёткое, конкретное – подозрительно. Истинное – блекло, размыто, лишь ощущать его, ощущать, видеть – нет. Удручающе, гнетуще, а может бежать, бежать, бежать – и вырвешься? Не отпустит. Кольцо, оковы. Моргай, дрожи, за спиной – пустота, она смеётся. Струны дрожат, мне известно. Это волшебники, они жили давно, в пещерах, они варили зелье. Они знали, знали... А перевоплотиться? А почему бы? А рискнуть? Когда меня будут свежевать, кожа отделится от мяса легко, сала нет. С хрусточком, только потяни. На полосы резаная, дубится. Два диска, один справа, другой слева, под наклоном, вертятся, бесшумно, но вижу. Ходишь – вертятся, стоишь – вертятся. В этом смысл. И равномерные, жгучие, не то барабаны, не то из космоса – шшш, хххх, вррфф, жжщщ... Несётся, извилистый, стремительный. На куски – лишь в мыслях, в реальности нельзя. Он нематериален, неделим. Всю дымку в ладони. Что здесь, что здесь? Глупые, это то самое, чего ждали. И сквозь пальцы – холод, жуть. Свернуться и затаиться. Перекатываться лишь, подпрыгивать. О, глаза, глаза... Лишь точки, а как страшно. Нет, они бы не поняли. Лишь в мясе, смрадные – те поймут. И шум, снова шум. А почему зовётся тишиной?

– Доброе утро, Егор Матвеевич, – как всегда вежливо приветствовал он старика.

– Здравствуйте, – вздрогнув, отозвался сосед по коммуналке.

Андрей достал из холодильника кастрюлю с остатками вчерашнего супа и трёхлитровую банку с двумя последними огурцами. Чайник был пуст – он поставил его в раковину и открыл воду. Газовые конфорки долго не загорались, а воспламенившись, издали по хлопку. Андрей присел на табурет – облокотившись о стол, положил голову на ладонь. Егор Матвеевич тихо и степенно доедал свою жареную картошку, а покончив с ней, налил чай из своего чайника и, переставив табурет к окну, закурил, прихлёбывая время от времени кипяток. На кухне было солнечно и жарко. Плотные потоки света, проникая сквозь оконные стёкла, наполняли её слепящей яркостью и какой-то игривой весёлостью. Андрей был прикрыт от света холодильником, а вот старику приходилось закрываться ладонью от назойливых лучей. Его морщинистое, коричневое лицо интересно при этом освещалось: тёмная полоска тени закрывала разрезы глаз, а лоб и нижняя половина лица были светлы, но испещрены теневыми разводами. Всё это создавало из лица старика причудливый образ какого-то печального создания, заражённого неведомой болезнью.

Жирная муха настойчиво билась о стекло, мерзко жужжа и негармонично встречая в скромный, но естественный пейзаж. Она упрямо упиралась в прозрачную преграду, вальяжно перелетая с места на место. Егор Матвеевич какое-то время равнодушно наблюдал за её выкрутасами, но затем жужжание ему надоело. Он взял с подоконника старую, обтрёпанную газету,

свернул её, и не спеша, с уверенной основательностью, принялся за муху охотиться. Мухи иногда попадаются хитрые – убить их трудно, эта же была вяла и глупа. Измучившись, она устало передвигалась по стеклу; старик, безрадостно улыбаясь, ставил ей газетой преграды, легонько тыкал и выдыхал на неё клубы табачного дыма. Наконец ему надоело это развлечение и, размахнувшись, он ударил по насекомому, впечатав его в гладкую плоскость стекла. Муха превратилась в расплющенный, слизистый комок, Егор Матвеевич отковырнул его кончиком газеты и, сметая на пол, загнал тапочкой под батарею – от глаз подальше.

Грустно, пустынно. Клонисься, бушуешь, шумишь – напрасно, ветры уносятся вдаль, а ты врос, застыл. Отражения солнечных разводов, преломляясь сквозь сетчатку глаз, клубятся и спариваются, плавно скользя по поверхности роговицы и, не найдя ни пристанища, ни покоя, страдают, но как-то тихо и красиво. Неудержимое желание побуждает их выходить за рамки собственных орбит и смешиваться, порождая обилие цветовых гамм – они дрожат, расплываются, наезжают друг на друга, производя тем самым очередные всплески буйства красок. Лёгкий пурпур со сдерживающим его порыв робким налётом белёсой скромности; благоухающая желтизна, разливающаяся каплями цветения; терпкая зелень, лишь миг скользящая в воображении, потом неведомо куда исчезающая, но через несколько мгновений вновь рождающаяся желанными дуновениями колышущихся трав; заволакивающая синь, такая притягательная, но веющая холодом и потому опасная – если погрузиться в пучину, тщеславие её переливов не выпустит тебя из своего плена и гнетущий, тоскующий, останешься ты вечно среди сдержанных течений её струй, она будет играть тобой, иногда обнадёживать, но тщетны все надежды – лишь однотонный смех будет раздаваться во всех концах её безбрежности; чистая и безгрешная белизна проявляется редко, но проявившись, заполняет собой всю Вселенную, принося тишину и умиротворение – хочется раствориться в ней полностью, слиться всеми частями своего существа и безмолвно, вечно блаженствовать; пугающее же отчаяние черноты не проявляется в этом калейдоскопе явно, но нельзя думать, что его нет вовсе; нет, оно незримо присутствует во всех цветовых инкарнациях и едва-едва дуновение его безумия угадывается в мельчайших частицах фоновой завесы, более того, чернота – господствующий цвет, выражение бескрайности, именно она управляет движением образов и, являясь вместилищем всех цветовых проявлений, порождает их, в зависимости от своего желания и благосклонности, сама же оставаясь незримой и неосязаемой. И налетевший ураган смешивает радости, стирает вдохновения, развеивает надежды, принося печаль и беспросветность, ибо он и является проявлением той истины мира, что всеильна и непредсказуема. И обрываются звуки, и редкие листья, кружась перед падением, рожают равнодушие. Мелькающие в лихорадочном беге ноги молодого скакуна несутся к неизвестности и всадник с развевающимися волосами и обнажённой грудью хохочет, раскинув по ветру руки, его конь пенится рыхлыми клубами влаги и, горячая, она срывается в песок. Солнце опускается размеренно, величественно, травы жухнут, цветы вянут, а птицы умолкают. Смотри, на тигровых холмах зажигаются костры – робкие точки бушующей стихии огня, погода безветренна, и дым, не клонясь и не извиваясь, устремляется вверх, где достигает неба. Тысячи невидимых глаз, бесцветных и крохотных, наблюдают за ними отовсюду: из-под камней, из-за деревьев, сквозь облака и сквозь землю. Они стояли на краю, может долго, может нет, но сама госпожа Вечность задела, должно быть, своим крылом тот промежуток времени; но всё прошло, и они, оттолкнувшись от скал, полетели вниз. Ветер яростно бьётся о камни, свёртываясь в завихрения и смерчи, время всё так же продолжает отмерять единицы своего существования, небо темнеет и наливаются скорбью. Леса качаются, шуршат, но вдруг застывают, давая слово безмолвию. Оно приходит скромно, незаметно и тихо замирает в воздухе гулкой пустотой. Пустота величественна: она развёртывается перед взором непостижимой бесконечностью, наполняя пытливые глаза колючим ужасом и сжимая плоть могучими тисками холода. Станный звук рождается где-то в глубине земли и, нарастая, усиливается, распространяясь повсюду волнами беспокойства. Нет, это не отголоски далёких

вулканов, извергающихся клокочущей лавой. И не отзвуки морских тайфунов, будоражащих море громадными валами. Это не эхо кровавой битвы, нет. То мертвецы стонут в своих могилах. Мертвецам холодно, сыро и страшно. Они рвутся наружу и, вибрируя гортанью, плачут...

– Кипит... чайник-то, – глухими и плотными перекатами отдалённого грома донеслись до него слова старика.

Андрей встрепенулся, вскочил с табурета и двумя резкими движениями завернул газовые вентили. Крышка обшарпанного, помятого чайника, нервно дребезжавшая под напором пара, дёрнулась в последний раз и застыла. Смолкло бульканье и в кастрюле. Андрей поймал на себе взгляд старика: с лёгкой улыбкой кривого морщинистого рта тот глядел на него насмешливо. Из носа его, дрожа и извиваясь, вырывались две струи табачного дыма. Глаза были прищурены и хитры. «Мразь старая!» – подумал Андрей. Он наклонил кастрюлю и дымящаяся жидкость супа, хлюпая, перелилась в тарелку.

– Жарковато что-то сегодня, – подал голос старик.

– Да, жарко, – отозвался Андрей, нарезая хлеб.

– Вроде бы и лето к концу уже идёт, а смотри-ка ты, всё жара не спадает, – продолжал Егор Матвеевич.

– Потепление климата... – буркнул Андрей.

– Что?

– Климат теплеет. Погода на Земле изменяется.

– А, да. Слышал, слышал. Это из-за солнечной активности.

– Угу.

– Солнце – оно совсем не такое безобидное, как кажется. Там огромное количество химических элементов. Термоядерная реакция. А сейчас, должно быть, усиление её.

Андрей молчал. Старик почесал грудь и затянулся папиросой.

– Вот раньше на Земле ледник был, – выдохнул он дым. – Льдом всё покрыто было. Динозавры, кстати, в тот период вымерли. Значит, что получается? Получается, что термоядерная реакция на Солнце тогда недостаточной для обогрева Земли была. Так ведь?

– Да, наверное, – нехотя отозвался Андрей.

– Эх, интересно всё ж таки мир устроен! – покачал головой Егор. – Это ведь подумать только – как всё выверено, как всё правильно рассчитано. В центре – Солнце, вокруг него планеты вертятся. И не сталкиваются, не врезаются. Удивительно.

Старик замолчал и погрузился в раздумья. Морщинистый лоб его кривого лица оперся о чёрную ладонь. Рванный тапочек покачивался на ноге. В руке дымилась сигарета. Он был серьёзен.

Андрей налил себе чай – бледноватый, сцеженный, но всё ещё годный для питья.

Старик вдруг очнулся.

– Налей-ка мне, Андрюш, стаканчик, а? – попросил он, забывая о своей скромности и переходя на привычные собутыльно-дружеские отношения. – Пил вроде только что, да чего-то ещё хочется.

– Пожалуйста, – отозвался Андрей, принимая его стакан.

Получив его обратно, Егор шумно отхлебнул, прополоскал чаем во рту и, тяжело двинув кадыком, сглотнул. Андрей старался смотреть на пол. Вон кучка сора, вон две горошины валяются, а вон таракан ползёт... Вторым глотком старик осушил стакан до дна и тяжело поднялся, вытирая ладонью выступивший на лбу пот.

– Пойду-ка, прилягу, – бормотнул он.

Андрей какое-то время сидел без движений, смотря в окно, на безоблачный кусок голубого неба. Световые полосы на полу заметно изменили наклон: день неумолимо отмерял свой ход. Солнце сияло почти над самым домом.

Солнце, люди – мерзкая обстановка. Город – он тоже разумный. Кажется – дома, улицы, деревья, машины – безжизненно, нет, здесь своя логика, своё существование. Он питается энергией. Высасывает, опустошает, а вроде солнце, вроде весело. Шумы, запахи – тоже воздействие. Он рождает в мозгу химер, ходишь, смотришь, думаешь – он такой и есть, нет, это не так, он другой – ужасный, смрадный. Идут люди, люди как люди, сами по себе – обман! Они его слуги, они против тебя. Они заглядывают в глаза, взгляды их страшны, блестят, и нет сил сдержаться, хочется сомкнуть веки, не видеть. Бороться – бесполезно, душа скомкана, жилки вздрагивают, не выдержишь накала. И гнёт, снова гнёт, сплошной гнёт. На мир можно смотреть только из окна. Похоже на кинофильм, будто не по-настоящему. Самому же пересекать этот экран – приходится, но как не хочется! Потому что сюжет непредсказуем, в любой момент возможен срыв. Тишина, покой – вот истинная стихия. Но нельзя, невозможно. Кони скачут, упадёшь – затопчут. Завихрения, смерчи – пустыня, вот кружится перекасти-поле, вот струйка песка скользит по склону, холмы, холмы. Ночью – звёзды, если лежать на спине – они пролетают сквозь тело, остаются позади. Под пальцами крошатся скалы, кажется – то пальцы сильные, нет – то скалы стары, им миллионы лет, они рушатся. Камни и зелень – как будто привычно, но вдуматься – несоответствие. И звон, он такой гнетущий, тяжелый. Переливается, как время. А чтобы бежать, надо высоко поднимать ноги. Змеи спрятались и ждут – не давай им повод. Лети, лети, мотылёк, я оборвал тебе ножки, но крылья оставил, ты сможешь улететь. Они ходят и гниют, рычат, поворачивая морды, вопят и бьются о землю. Они прокляты.

– Андриюш, ты почему такой грустный? А? Чего молчишь?

– Разве грустный?

– Разве нет? Потухший, глаза печальные.

– Это маскировка. На самом деле я весел.

– Ты какой-то не такой в последнее время. Хмуришься, сердишься. Что с тобой происходит?

– Сам не знаю. Удивляешься порой даже: вроде всё по-прежнему, всё по-старому, день за днём, а вот ритм, ход этой жизни уже не чувствуется. Пустота какая-то, вязкость. Несёт куда-то, несёт и даже страшно делается.

– Ты просто устал. Тебе надо отдохнуть.

– При чём здесь это? Тут что-то всё иначе, глубиннее.

– Не знаю, не знаю... Мне тяжело тебя понять. Мне самой часто бывает невыносимо трудно. И даже тебе не о всём хочется рассказывать. Но жить как-то надо. Не ложиться же да умирать.

– А почему бы нет? Лечь и тихо умереть...

– Ну, сейчас ты неискренен. Ты никогда не сможешь просто так уйти.

– Почему это?

– Почему? Прости меня, конечно, но ты слишком слаб для этого.

– А может быть слишком силён?

– Да нет, не думаю. Как бы ты не относился к своей жизни, вряд ли ты сможешь от неё отказаться. Она не выдающаяся, скромная, но зато по-хорошему размеренная, спокойная. И менять её на что-то бурное, лихорадочное, тем более на смерть ты никогда не решишься. Ты её пленник.

– Да, ты права. Всё действительно так. Лишь гниение, постоянное гниение, больше ничего. Жизнь страшна, смерть ужасна – это невыносимо.

– Но у тебя есть я. Я люблю тебя. Я всегда с тобой, я поддерживаю тебя.

– Поддержишь... Ах, если бы это действительно было так.

Дверь с протяжным тихим скрипом отворилась и крохотное детское личико робко просунулось в проём. Несколько секунд девочка озабоченно рассматривала убогий интерьер ком-

наты, а потом, переборов страх, распахнула дверь пошире и, сделав несколько шагов, остановилась возле кровати. Андрей подмигнул ей.

– Как дела? – спросил он.

Девочка молчала, лишь засунув два пальчика в рот, осторожно рассматривала Андрея.

– Ну, ты что такая невесёлая? – приподнялся он.

В дверном проёме появилась Елена. Соседка. У неё с дочерью самая большая комната. Относительно большая – по сравнению с его и стариковской.

– Вот ты где, – с упрёком покачала она головой. – Ну-ка, иди сюда, не мешай дяде.

– А она мне не мешает, – заступился за девочку Андрей.

– Она всем мешает, – продолжала журить дочку Елена.

Она присела на корточки, вытащила у дочки изо рта пальцы и вытерла ей лицо подолом халата. Показались её ноги, стройные, загорелые. У Андрея слабо, но явно засосало под ложечкой.

– Посидите со мной немного, – попросил он вдруг у Елены.

Она немного удивлённо, но больше озорно стрельнула глазами и снова отвлеклась на дочку. Девочка была приведена в порядок наконец, Лена легонько подтолкнула её к выходу и произнесла полушёпотом:

– Иди в комнату, поиграй там во что-нибудь. Я сейчас приду.

Девочка покорно зашагала к себе. Елена, едва дочка вышла, закрыла за ней дверь. Это движение вызвало в Андрее новую волну тепла. Девушка изящно, слегка игриво развернулась и элегантно присела на стул. В глазах её, широко открытых, внимательных, заструилось что-то туманное, томное. Андрей немного замешкался.

– А почему мы друг друга на «вы» называем? – начал наконец он.

– Не знаю, – очаровательно улыбнулась она.

– Так может на «ты» перейдём?

– Перейдём, – весело кивнула Лена и локоны русых волос, взмыв на мгновение, пустили короткую, но выразительную волну.

– Хорошая у тебя дочка, – сказал Андрей.

– Ой, намучилась я с ней! – отмахнулась Лена. – Совсем покоя не даёт. Заботы, одни заботы.

– Ну это, надо думать, приятные заботы.

– Да как сказать. Вообще-то да, приятные. Родная дочка всё ж таки.

Наступила пауза. Оба кротко и застенчиво улыбались.

– А ты в отпуске что ли? – подала голос Лена.

– Ага.

– То-то я гляжу – всё дома да дома. Долго отдыхать ещё?

– Двенадцать дней.

– Ну, ещё достаточно.

– Достаточно, только делать нечего. Думаешь, уж на работу, что ли, быстрее. Там занят постоянно чем-то, не так, вроде, скучно. А тут с тоски умираешь просто.

– Ой, со мной тоже такое часто бывает. Иногда грусть такая нападёт... Кто-нибудь уж пришёл бы что ли – так и нейдёт никто. Расстроись из-за чего-то, всё из рук просто валится. Тяжёлая жизнь, одинокая... – и она пристально взглянула на Андрея, губы её были приоткрыты, щёки пунцовы.

Он не отвёл глаз, и этот момент оказался вдруг необычайно долог. Глаза Елены были обволакивающие, многозначны, и Андрею показалось, что в них заструилось что-то милостивое, разрешающее. Импульс был настолько силен, что он не выдержал. Вытянувшись вперёд, схватил Лену за руки, притянул её к себе. Нечто изумлённое отражалось в её взгляде, но и любопытствующее, она не сопротивлялась. Попка её оторвалась от стула и тот легонько

стукнулся двумя ножками об пол. Андрей, став вдруг стремительным и резким, повалил Лену на кровать и подмял её под себя.

– Ты чего? – прошептала она, но так безвольно, что шёпот этот распалил его ещё больше.

Он обхватил её грудь и, чувствуя под пальцами упругое сочное мясо, глухо застонал. Губы его приблизились к её лицу и впились в маленький разрез рта. Ленины губы дрогнули, показалось – сопротивляются, но в следующий момент раскрылись – она отвечала взаимностью. Андрей дрожал и извивался. Его рука спустилась по её телу и, задрвав подол, обхватила гладкую и прохладную ляжку. Член, ощущая близость женского тела, был огромен и напряжён. Лена просунула под Андрея руку и дотронулась ею до этого маленького нахала...

– Света! – позвала она дочку. – Ну-ка, иди сюда. Смотри-ка ты, убежала, ищу её повсюду.

Света повернулась и зашагала к маме. Та взяла её на руки,

– Извините, – сказала Елена, закрывая за собой дверь.

– Ничего, – прошептал он одними губами.

По телевизору шёл фильм. Экран светился, он сидел сбоку, под углом. Ноги поджаты, голова прислонилась к стене; а фильм странный. Вот они разговаривают. Кажется, что разговаривают – не слышно, не ясно. А потом небо. Оно затягивается свинцовыми облаками, лишь вддали, над горами узкая полоска голубизны. Животные, мчатся по лесу, деревья мелькают, задыхаешься. Где-то на другом берегу угадывалась женщина, но лишь угадывалась – быть может то был призрак. Там стояла беседка, в кустах, а она сидела боком, боком вроде. Она за кем-то наблюдала, кто-то наблюдал за ней. Озеро покрывалось рябью и точками моросящего дождя. Проскользнула лодка – пустая, белая – она уплыла в сторону. А женщины больше не было. А вот опять они. Лица печальны, скорбны даже. Говорят. И слышно, а о чём – не ясно. Как в том кинотеатре: зал был пуст почти, а впереди сидела старуха – она бормотала и смеялась. Потом плакала. Люди уходили, она плакала – пьяная. Не хватало её смерти. Все ушли, а она так и осталась живой – неправильно, некрасиво, надо бы, чтоб умерла. Ночь заманчива, но я не люблю ночь. Дома страшные, тёмные, улицы длинные, а воздух дрожит. Небо бездонное, закрыть глаза – и прыгнуть; не люблю всё-таки. Этот хруст, это вздрагивание. Момент редок, но не настолько, чтобы не уловить; весь мир тогда, весь мир наверное, хотя мир ли? для мира много... не чужой мир, должно быть, а свой... он всплывёт, не изнутри, а снаружи, именно снаружи, пугающе – но так, проносится, вихрем, резво – и всё, покой, безмолвие... но как страшна эта секунда – лишь мгновение, а всё сразу в тебе; порой не успеваешь понять, а поняв... Поняв, молчишь, таишься. Это же всё мертво, без воздуха, если ударишь посильнее – рассыплется. Миф, блеф, тлен... Этого вообще не должно было быть, как может быть это – такое правильное, гармоничное, плавное, нет. Пропasti не спрячешь, пусть кажется, что всё застывшее, но прислушавшись – движется, шуршит, разлагается. Тут же обновляется, но ведь это движение, динамика, не статичность. Настоящего нет. Оно неуловимо. Оно тут же становится прошлым. Настоящего нет, но как же может быть всё это?.. И его нет, нет его, тлен, беги, дотронься, вспори эту ткань, это же ткань, покрывало, не истина. Клубится, нагнетается, вот-вот распад, но как-то всё же минуется, рассасывается, опять пустота, опять равнодушие. И они опять. Молчат. Или говорят? Мысленно, мысленно... Дует ветер, несильно, приятно, голову вправо – дзинь, голову влево – дзинь, тихий, робкий танец: цветы вянут, бабочки скрылись, один в отрешённости – что может быть лучше, быть лучше, быть лучше...

– Не-е-е-т – завопил он и сполз на пол. Рот скалился, глаза сверкали. – Не-е-ет, не может быть! Мне не может быть так хорошо. Химера! Это химера! Она снова здесь, в мозгу. Она тихо подкралась и высасывает меня по капле! Нет!

Они разлетались, эти тени. Он полз и смеялся. Он думал, что ему помешает, но помешать уже нельзя, план разгадан. Слепота исчезла, да здравствует свет!

Андрей дотянулся до кнопки и, нервно надавив её, застыл.

Телевизор потух. Окружающая обстановка, как и всегда, демонстрировала своё благополучие и убаюкивала конкретностью. Потoki тёплого воздуха лёгкими струями проникали в открытую форточку и колыхали занавески. Солнце уже не светило в окна, но оно было где-то здесь, за домами, спрятавшееся, но явное. Равнодушная тишина царила в квартире.

«Она пришла и принесла с собою радость.

– Я и есть радость, я и есть счастье, – говорила она.

– Откуда мы знаем, – возражали они. – Быть может ты лжёшь.

Она смеялась, звонко, весело, её смех разносился по земле, каким-то ветром, каким-то дыханием, он задевал своим жаром всех.

– Я величайшая из великих, – шептала она. – Я мудрейшая из мудрых. Я могущественнейшая их могущественных. Я безумнейшая из безумных. Полюби меня.

И хищные звери склонялись в раболепном поклоне – они боялись её. Океаны смирялись, становились кроткими и ласковыми – она улыбалась им. Сама Природа застывала в почтении и восхищении пред её красотой.

– Я – та, кого вы ждали веками. Тьма ушла, лишь свет, чистый, лучезарный свет будет отныне являться сущностью мира. Радуйтесь, ведь теперь я с вами до скончания сущего.

Пурпурные грёзы любви рождала она в их пустынных душах. Время изменилось, раньше оно было плоским и жёстким, теперь же стало мягким, извилистым и нежным. Она играла им, как ребёнком, и как чудно то было, как неведомо доньше. Хрустальные струи живительной влаги били из-под земли, их брызги оседали на пыльных лицах, пыль омывалась, она текла мутной грязью, но опав, растворялась, и лица их были красивы и веселы. Опьянённые, они кувыркалились в траве, кричали, смеялись и плакали – но от счастья, от счастья.

– Я превращу этот мир в прекрасное, – говорила она. – В простое, ненавязчивое благоухание, лишь благоухание, больше ничего, ничего больше.

– Да! Да! – кричали они и никто не видел, как цвет её сущности постепенно и незаметно менял своё естество, дыхание её становилось прохладней, блеск – хоть и ярче, но каким-то слепящим делался он неминуемо; коварство, лишь хитрое коварство являла она теперь собой. Но было поздно...»

В голове происходила болезненная пульсация, плавный зуд пробежал по коже: хотелось вытянуться во всю длину, а потом сжаться. Андрей сложил руки на животе и тупо рассматривал рисунок на обоях. В квартире было тихо. Лишь изредка в комнате старика раздавались вялые скрипучие звуки шагов – он расхаживал из одного угла в другой. Из комнаты Елены не доносились ни звука – это было странно, быть может они с дочерью ушли куда-то. Тишина была здесь редкой гостью. Обычно главным источником шума была Елена: она то кричала на дочь, то включала на полную громкость магнитофон. Нередко заходили к ней гости – попойки были шумные и долгие. К старику собутыльники приходили реже, да и вели они себя скромнее. Как то раз, правда, Андрей отнимал у одного мужичонки нож – тот грозился зарезать им Егора. Минуты же покоя, как сейчас, вырывались из общей какофонии редкими и неожиданными проблесками. Глаза Андрея непроизвольно смыкались, сознание выворачивалось наизнанку, казалось двойственным – реальным и потусторонним. Двойственность была явной и заволаживающей.

Вселенная бесконечна... Бесконечна Вселенная. Чудно, странно. Звуки, слова – дрожат, исчезают, а смысл? Вот она, вот – бескрайняя, великая. Чёрная капля мысли. Отчаяние... Трепещет, пульсирует, разрастается, рождает сонмы вибраций, это стоны; жжёт, давит, разрывает – чёрная пустота, чёрная. А сознание крохотно. Мировое естество, о-о-о, его напор страшен, плотина рушится, а душа сминается. Бог ты мой – Вселенная бесконечна! Никогда никому не достать её предела, нет его. Лишь пустота, лишь вакуум, снизу, сверху – во все концы. А вот капли – звёзды, планеты – их множество, они маленькие, но бесчисленные. Она была всегда, она всегда будет. Она вечна... Рефлексируешь, осознаёшь – надо ли. Пробужде-

ния, желания – тщетно, она бесконечна. Пылинка, пылинки, пылинки – фу, где ты? Они опять струятся. Почему так – чернота и эти нити. Они серебряны, светлы. Заплетаются, легко колеблясь. А потом вспышки – одна, другая, третья... Летишь, они под тобой – яркие, красивые. Нити ближе, ближе. Плен – но нет, просачиваются, бесчувственны. Вдали, едва заметны. Дрожат... И серпом – по чёрной жниве. Жах – и рвётся, и молния. Жах – и ещё. Жах, жах, жах... Раздвинуть, оторвать – свет, но бесконечен. Опять? Струится, обволакивает. Серпом. Полоса, чёрная. Алчная, разливается. Сверху вниз – крест.

Края колышатся. Ветер? Пальцами в вязкость. Чернота, желанная. И всё – вот она. Застывшая, аморфная – э-ге-ге-ге-э-э-э – ничего, ничего. Уж лучше так, уж лучше она. Но бесконечная, бескрайняя!? Бессмысленно, тщетно. Она здесь.

Он очень долго пытался заснуть. Ворочался, вздыхал. Необычайная слабость гнездилась внутри. Отчего-то было жалко себя. Чёрная, беспросветная ночь царила за окнами. Лишь отблески фонарей отражались на шторах мутно-белёсыми разводами. Изредка эту тишину разрывали одинокие звуки шагов – запоздалые прохожие торопились домой. Гнетущая обыденность мрачно и величественно возвышалась над миром.

...а ведь когда-то я умру... Пройдут года, десятилетия – и из молодого человека я превращусь в человека пожилого. Потом стану стариком, и вот, в какой-то момент, в одну из быстротечных секунд, такую же, как и все остальные, которая обязательно случится, от которой не убежишь, я вдруг перестану существовать... Года, десятилетия, столетия всё так же будут отмерять собой историю, всё так же будут жить на Земле люди, будут происходить события, будет появляться что-то новое, невиданное и неведанное, но я ничего этого не увижу, меня просто не будет... Боже мой, как же это возможно, что я уже никогда не буду? Неужели это действительно произойдёт? Никогда, никогда не появлюсь я больше на свет, не смогу видеть, не смогу слышать, говорить, ходить, чувствовать. И так всю бесконечность... Бесконечно будет продолжаться существование Вселенная, бесконечно будут появляться в ней новые миры, новые создания, но я, я уже никогда за всю эту бесконечность не буду жить... Да мыслимо ли это, чтобы я, такой живой, реальный, естественный перестал бы вдруг быть? Мыслимо ли это, что я никогда уже не смогу ощутить сам себя, своё собственное «я», не смогу почувствовать себя попросту живущим? Никогда?! Ни-ког-да?!

Тьма холодна. Уколами, касаниями – боль. Что в чём? Если вспороть мясо – тьма? А если тьму – мясо? Молнии! Это молнии! Яркие, жгучие. Не мимолётны, долги. Живут и выжигают, живут и выжигают. Оно пылает, дымится – нутро. Сжатие – и словно взрыв. Нет, нет, нет... Тихо, медленно, плавно. Боль, да, но не смертельная. Смертельная – впереди. А эта – нежная, ласковая... Планета Земля. Голубая, чуть-чуть белёсая. Парит в бескрайности, затуманенная, нечёткая. Благоухает, это тишина, это спокойствие. Безмятежность и тихая радость. О-о-о-о... Волны, судороги. Отчаяние – лишь слово, а суть, суть... Почему не плавится мозг? Он должен плавиться, он должен течь из ушей, зелёный, с желтоватыми крапинками. Ногтями – по гладкой коже. Рисунок, что-то из детства. Застывает, сохнет, трескается. Мозг, мозг. Почему я боюсь смерти? Я ненавижу мир, ненавижу людей. Да? Неужели да? Я хочу этого. Чистым сознанием парить в пустоте. Без людей, без природы. Без мира – нет? Не выдержит? Пустота не выдержит?! Ха-ха, она не выдержит! Лопнет! Оно кружится, оно танцует. Это где-то там, если постучать долотом – то можно, можно. Белое, всегда хотелось белого. Слиться, ослепнуть. И ждать, ждать, ждать. Зная, что ничего не будет. Лишь ты, лишь белое. Счастье.

Андрей вскочил о постели, лихорадочно натянул штаны и метнулся на кухню в надежде обнаружить там стариковские сигареты. Они оказались здесь – пачка лежала на холодильнике, Андрей облегчённо, почти облегчённо, вздохнул и нервно схватил её. Коробок спичек был тут же, пошатываясь, он открыл форточку, уселся на табурет и закурил. Густой дым заполнил рот и просочился в нос. Он закашлялся, но удовлетворённо – сейчас, сейчас никотин дойдёт до мозга. Андрей вдруг заплакал: слёзы брызнули произвольно, горькие, крупные. Они

ручейками побежали по щекам – всхлипывая, он вытирал их кулаками, но словно что-то про-
рвало – рыдания становились всё горестней, слёзы текли всё обильней... Ему всё же полегчало.
Гнетущая тяжесть спала, да и сигареты, которые он курил одну за другой без счёта сделали
своё дело – желанное отупение пришло. Мысли смешались, размножившись на сонм незначи-
тельных и проявлявших своё существование лишь фрагментарно частиц, сознание замутилось
и отчаяние улетучилось, недалеко наверное, но всё же.

Он поставил на плиту чайник. Подперев ладонями голову, смотрел на голубое пламя
конфорки и гнетущая пустота – а может то было что-то иное? – вращаясь, клочкотала в груди.
Такая тоскливая, такая заунывная – будто что-то вязкое, тягучее изливалось из её вместилища
и, журча, текло по жилам, погружая его в цепкий магический транс. Чайник вскипел и Андрей,
заварив чай, долго пил его, уставившись опухшими глазами в пустоту. Изредка он поглядывал
в окно: крошечная тьма, объяв собою всю землю, заставляла человеческие существа прятаться
по норам, а сама, шумя всплесками восторга, бушевала в своей упоённой и безмолвной отрешённости.
Допив чай и проглотив с последними глотками несколько таблеток снотворного,
Андрей выключил на кухне свет, прошёл в свою комнату, где, всё ещё взволнованный и пере-
полненный мыслями, забрался под одеяло, мечтая лишь об одном – побыстрее заснуть.

Тризна

Последовательность действий уныла и однообразна. Скука, лень – усердие сжалось в комки и чувства затуплены. Им случается бывать оголёнными, и всплеск эмоций – он хорош как акт, как намерение, но и болезнен и оставляет ссадины. Хочется раздвинуть вязкость и вывалиться из набухшей почки – лишь падение за этим, но оно же и полёт, возможно долог он. И ясность движений тоже: и в ладонях сила, и в плечах твёрдость, и в ногах упругость. А мозг – он блаженствует от рабочего напряжения, он пульсирует решениями и позовами. Где же ты, вечная незыблемость, что движет механизм причинности? Может не ушла ещё...

«Сегодня Серёже десять лет, одиннадцать месяцев и два дня, – говорит жена. – Он совсем уже взрослый. Я так и вижу: он подходит ко мне, целует в щёку и бежит в школу – его уже ждут товарищи. А я смотрю ему вслед и радуюсь».

Андрей медленно отводит глаза в сторону. Это умиление на её лице вперемежку со скорбью тяжело для него. Сейчас всё тяжело – ходить, думать. Дышать – и то тяжело. Какая-то великая и могучая тяжесть опустилась на них. И раздвоение. На конкретность и рыхлость. Свои границы, своя суть. Но кажется спаянным. Чтобы не разрушили? Чтобы не стремились вовне? Величины несопоставимы, и та же тщета. Всё само собой, само в себе. Ведь движение это огромно, безумно. Миг, искра – а может казаться вечностью. Но проходит, тает. Неумолимо, безжалостно. Лучше уж так – постепенное, планомерное, но скольжение. Остановки исключены. Остановишься – пепел. И как бездна – красная полоса посередине, впитаться хочется. И высасывать, высасывать... Бугорки, неровности – закрыть глаза если. Это сильно, бороться бесполезно, но сам – часть его, иного не представишь. Лучше отбирать, отсеивать – оно загадочней, захватывающе. Да и искренней.

«А ты знаешь, – жена поглаживает пальцами лоб, – мне почему-то кажется, я даже уверена в этом, что он с нами ещё. Просто стал невидимым, неслышимым. Я иногда чувствую его за спиной; я замираю тогда, а потом резко оборачиваюсь в надежде увидеть хоть что-то... и ты знаешь – я вижу. Хотя не уверена, Серёжа ли это, или что-то иное, но думается, что Серёжа. Это лишь пятнышко, помутнение какое-то в глазах, но это он и есть, он такой сейчас и должен быть. А ночью он садится рядом с кроватью и смотрит на меня. Я чувствую его взгляд, но глаза теперь не открываю. Раньше открывала, но он обижался и уходил. Он не любит этого. Поэтому я лежу сейчас с закрытыми, а он смотрит на меня... Ты не чувствуешь этого, нет? Он ведь и на тебя смотрит тоже».

Пустыня, ветер. Я строил здесь город, но его занесло песком. Это как память, у неё чудные свойства. Она может стереть что-то значимое, сущее и оставить глупую безделицу. Да и явное, оно хранится и извлекается преломленным. Эмоции, вот чего не хватает! Одни голые картины, в них шлёпают губами, а слова подбираешь ты сам. Можно даже движения, поступки, если присыпано немало. Здесь интерес, здесь новые грани и давно забытое может заблестать неведомым и неожиданным. В сущем, память – лишь часть воображения, они оба рождаются из одного атома, одно зовётся так, другое иначе, подмены не возбраняются, такая функция имеется. Она как игра поначалу и увлекает немало. А может стать явью, да и становится, потому что по-другому не выходит, такова природа этого. Память... а истинно ли то, что хранит она?

Жена сейчас тиха и скромна. Если бы не этот блеск в глазах, то такой она бы нравилась ему больше, чем во всех других ипостасях. Она сейчас сосредоточена, пластична, её движения завораживают. Она редко улыбается, но если делает это, то улыбка её – знак небес и одаренный ею открывает нечто. Сейчас она счастливей, чем когда-либо, но считает себя несчастнейшей из живущих. А почему? Да потому что грусть – это её стихия, скорбь – её музыка, отчаяние – её вера. Раньше так не подумал бы, раньше казалось всё иначе. Но образы, как скорлупа,

спадают; не всегда, но если спали, увиденное поражает необычностью. Оно будто из другой мысли, из иной дрёмы, но оставшееся – и есть настоящее. Потому-то настоящего и мало. Оно появится – к нему тянутся, трогают пальцами, а на них грязь, жир – вот и нет уже настоящего, вместо него – лоснящееся что-то, смердящее. Оттого моменты общения с ним ценны, и хоть один – то удача. Ну, а тут не моменты, тут жизнь целая. Только сколько ей отпущено, жизни этой – неведомо, может краткость малая, но название всё же не «миг», не «мгновение», а «жизнь».

«А я ведь даже не хотела его поначалу, – слышит Андрей голос жены. – Я была глупой, я воспринимала всё несерьёзно. И серьёзность, такая громадная, что стояла за этим, она подавляла меня. Я лишь потом, постепенно добиралась до сущности. Первый момент – это роды, а за ним каждый – целое откровение. Просто держать на руках – в этом было уже что-то немалое. А кормить грудью – тут целый мир рушится... Он и рухнул в конце концов, только не тот, другой. Подменили его чем-то иным, а меня оставили там, где была. Неужели в этом логика какая-то, смысл? Я не вижу».

Тронуть, лишь раз коснуться... Но страшно, распадётся. Лучше так лицезреть. Это как сфера, которая всегда над. Там солнце, зелень и водопады. Там извилистые горные тропы и сочные плоды фруктов. Там воздух пьянит сказкой и маленький мальчик на бегу тянет к тебе руки. А потом росчерк, и стены со своим изошрённым узором возвращаются. Андрей ходит по квартире, нагибается за соринкой, выходит на балкон, потом заходит в комнату снова, включает телевизор, садится в кресло. Тягостно и лениво ворочается внутри собственная сущность. Бег. Три дороги, выбираю центральную. Сзади – варвары. Лёгкая дрожь и капельки влаги, они как смазка. Здесь раньше были леса, теперь лишь гладкие брёвна. На них скользит нога и при падении рассекаются губы. Забери меня к себе, женщина! Я добр, я нежен, я рождён из любви. Я оберегу твой сон холодными лунными ночами, я разведу в твоём доме костёр. Я буду сидеть тихо, я буду слушать небо. Если ты будешь зла на меня и единственным чувством ко мне будет ярость, я смирюсь. Покорюсь и умерщвлю себя так же тихо и скромно. Будь счастлива, ясно-окая.

«На вот, – подаёт она ему тарелку с супом. – Серёжа его очень любил. Он вообще-то ел плохо, помнишь наверное. Худющий такой, да глазастый ещё – всегда его накормить хотелось. Ел плохо, да, всё потаском таскал. Да конфеты ещё всякие, мороженые, настоящей-то пищей и не питался практически. А вот суп такой любил. Просил даже: мам, свари мой любимый. Я его сейчас столько же варю, как и раньше – кастрюля та же, так что ешь теперь за двоих. Ты тоже ведь худой какой-то... Да глазастый, он прям в тебя весь был. Все так и говорили: Серёжа в отца. От меня и не было в нём ничего... Характер если только. Он тоже ведь спокойный такой был, вяловатый даже, стеснялся будто чего-то. Но если уж примется за что со всем рвением, разозлится – то уж спуска ни себе, ни другим не давал... Ты кушай, Андрюш, кушай, у меня пюре ещё да компот».

А ведь опустошение – оно тоже одно из. Только что его причиной? Будто отверстие в трафарете, справа, чуть ниже рёбер. И сквозняк продувает. Оно потом затянется корочкой, лёгонькой такой, шершавой. А мясо раздастся вширь и полость зарастёт. Ничего не останется, может и воспоминаний. Будут бить туда кулаками – мышца твёррррдая и упрррругая, больно совсем не будет. Скульптуру лепят из гипса, высекают из мрамора, отливают из бронзы. Из мрамора лучше, он белый и гладкий, хоть и бьётся. Памятник в поле, на скрещении дорог; не пройдёшь, чтобы не приблизиться. Увядшие цветы, опавшие листья, шелуха и мусор под ногами. Он велик, он ужасен, раз в столетие из его левого глаза выкатывается слеза. Он скорбит, плачет. Море вздымает валы и обрушивает их на скалы. Ветер взъерошил волосы и надо прищуриваться, иначе лицом к нему не выстоишь... Нет, нет, не то... Оно опять повторяется, эта цикличность нудна и кажется – от неё не избавиться. За этим последует лодка, уплывающая вдаль и бездыханный труп, выносимый волной на берег – логика мысли однобока, даже если видится

изысканной. Она зиждется на химерах прошлого – они разрастаются в теле с возрастом. Приглядись, принимайся, спираль и здесь выделяет свои контуры. Уж если не видно, то на ощупь всегда определишь. Снова прорыв, опять уныние – чистота и звучность исчезают, хрустальность мутнеет. Круги расходятся, борозды опускаются, ещё секунда – и ровная поверхность. Далека от зеркальности, но и от тревожности тоже. Успокоения не несёт, но и страха не вызывает. Папа, а почему бывает страшно? Тебе бывает страшно? Да, иногда. Не знаю, сынок, не знаю... Жена моет посуду. Он слышит звук льющейся воды, звон тарелок и её бормотания.

Она часто теперь разговаривает сама с собой. С ним бесполезно, он закрыт на десять оборотов. Что же, общение с собой ценней и естественней. Понимание и сочувствие обеспечены. Она теперь любопытней, чем раньше. Она открыла дверцу... Запахи бьют в нос, звуки оглушают, а видения ослепляют. Отражение протягивает руки и улыбается. А шаги – какой ценой они даются.

«То, что его не нашли – в этом есть что-то, – её слова заполняют его всего, с ног до головы. – То ли мука, то ли облегчение. Нам оставили надежду, но быть может это более жестоко, чем если бы без неё. Я теперь до конца дней буду верить в возвращение. Я и сейчас при каждом звонке, при каждом стуке в дверь, понимая, что чудес не бывает, замираю. Разочарование следует за разочарованием, но надежда – это большое слово, она неистребима. Я не видела его неживым, потому он всегда будет живым для меня».

Андрей идёт по улице, мимо домов, деревьев и заборов. Слова звучат в голове раскатистыми отзвуками эхо и не устают повторяться с нудной неизбежностью. Причудливо... Причудливо, как и остальное. Оператор в самом центре, в переплетении мозговых волокон. Он – зрение, слух и обоняние, но единение отсутствует. Он лишь руководит. Оттого-то и чудно всё так, через призму, сквозь дымку. Он напрягает мышцы, шевелит ногами, приводит в движение руки. Он поворачивает голову, потом в другую сторону, и опять её, но уже иначе. Изображение дрожит, мутнеет порой, но в целом чёткое и поддаётся объяснению. Потому что усвоены правила, понята логика. А вообще оно должно быть бессмысленно, содержание – откуда оно в этом? Мимо проходят люди, они совсем такие же, пробежала кошка, проехала машина. Звуки бурлят и не упорядочиваются. Молоко, хлеб, масло. Продавщица улыбается почему-то... Впечатление прокручивается назад, декорации те же. Оператор усерден и старателен, хотя впадает часто в дремоту. Ему бы поспать, увидеть сон, помечтать. Не бесконечно же это длится, увидит.

«Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придёт серенький волчок и утащит за бочок... Серёж, не балуйся. Что за баловство такое!? Отдам вот сейчас тебя какой-нибудь тётеньке чужой. Не отдам? Вот зайдёт кто-нито – сразу отдам. Если вести себя плохо будешь. А то что это – такой хулиган вырос, его спать укладываешь, а он безобразничает. Это ты маленький ещё, а как большой станешь – что с тобой делать? Из дома бежать что ли? Ну-ка, ложись давай. Закрывай глазки, ни о чём не думай, сейчас угомон придёт... Конечно, конечно, никому я тебя не отдам! Как я могу отдать тебя кому-то, Серёженька? Единственного своего сыночка! Маленького моего мальчика! Кровинушку свою крохотную! Спи, Серёж, и ничего не бойся. Никогда не разлучимся мы с тобой, всегда будем вместе. Никто, никто тебя у меня не отнимет, так и знай!..»

Позы – фрагментарная череда реальностей. Их можно наблюдать без диалогов и комментариев. Они значимы сами по себе. Надо лишь составить ряд и зрелище будет занимательным. Вспышка – впечатление, вспышка – впечатление... Воспоминания – они тоже состоят из одних поз. Вокруг взмахивают саблями, кровь брызжет фонтаном и куски мяса стелятся ровными рядами. Битва не утихает. Трава колышется и солнце неумолимо уходит за горизонт. Птицы кружат и бродят по полю призраки. Чудную музыку слышу я, но лучше заткнуть уши – она одаривает безумием.

Она гладит тряпочкой фотографию мальчика. Дует нежно, прикасается ласково. Даже что-то шепчет ему. Когда Андрея нет дома, она целуется с ним и роняет на рамку слёзы.

При нём стесняется, ей хочется казаться сильной. Она и так сильна, без всяких скрытностей и умалчиваний, она сильнее его. Порой она упрекает его за безразличие, за чёрствость, но она не права. Она видит лишь внешнее. Внутри он её не пускает, эта пучина отчаяния поглотит её и неизвестно, выбраться ли ей на поверхность. Сама она наоборот, открыла все шлюзы и свободна всем ветрам. Иногда он проскальзывает сквозь неё, но сейчас это не интересно, острых ощущений там не сыскать. Мечи затупились, колья поломаны, она лишь царапает ими – это неприятно, но не более того. Она проста и понятна, как морозящий дождь. Нудна, как он. Хотя... былое, оно ещё шевелится в ней, привлекательность не утеряна, она ещё влечёт.

«Я сейчас понимаю, – снова слышен её голос, – что Серёжа... он как бы чувствовал что-то в своей судьбе. Я даже уверена в этом. Вспомни, о чём он с тобой разговаривал. Со мной – очень часто о смерти. А как это вот так – умереть, а что бывает, когда умрёшь – мне даже страшно становилось от таких вопросов. А ведь он совсем ещё мальчонка... Впечатлительный очень был... Возможно, мы его и испортили в этом плане. К книгам рано приучали, к фильмам умным. На размышления провоцировали. В его возрасте резвиться надо, на природе бывать, а он за книжкой сидел».

Лучезарная дымка, почему ты манишь? Почему рождаешь в груди беспокойство и неудовлетворённость? Почему стремиться заставляешь к нереальному и сеешь семена скорби и печали на полях бренности? Почему? Они утоляют поначалу, семена, освежают, и лишь потом, созерцая возвращенный злак, понимаешь, что за истина скрывалась в них. Сожаление имя ей. А ещё раскаяние, а также тщетность – имён много, а суть одна – потеря. Или может в скрижалях вечности моё имя так и значится для утрат лишь и горьких покаяний? Не читал, не прочту, не дано, да и «почему» неуместно здесь и глупо. Тут не «почему», тут «ради чего» бы надо, но этот вслух не могу, лишь про себя. Так и надо, да пусть и будет так, по-иному уже не умею. Мани, разрешаю.

«Ты видишь, Андрюш, как складывается всё, – что-то саркастичное в её голосе теперь, голосе и взгляде, странно, – о другом мы даже не задумываемся. Чтобы взять и решиться на ещё одного – такого даже в мыслях нет. Одного горя достаточно. Это пережили как-то, второе – нет уже. На нас теперь проклятие. Духи смотрят сверху и думают: „Это проклятые, с них спроса нет. Пусть живут себе так же горестно“. И самое страшное – прошло то время, когда можно было что-то предпринять, мы из него убежали. Теперь решаем не мы, за нас уже всё решено, мы лишь покорно исполняем. Нет, я даже не злюсь: если бы нас оставили сейчас, мы бы вообще разучились существовать, растворились бы просто, сами по себе. Я знаю, ты согласен со мной. Ты со мной редко когда соглашаешься, но сейчас – абсолютно и полностью. Да ведь?»

А мальчонка всё тянет и тянет руки. Проклятие? Да, проклятие. Слово верное. Уже просто убегаешь, но он не отстаёт, преследует. Отшвыриваешь от себя его ладошки – и он плачет. Садится на корточки, прячет лицо в руки и ревет. И его жалко, но пожалей – и гонка продолжится с новой силой. Холод и льдины. Они дрейфуют, в них трещины и от неосторожного шага можно провалиться. Северный Полюс, он справа по борту. Здравствуйте, белые медведи, теперь мы будем жить вместе. И за чертой, казалось, всё – иная субстанция и структуры. Иной я. Но за первой следуют другие и лишь усмехаешься, пересекая их: где же быллой восторг и чувство победителя? Смена сезонов, переход циклов – всё в окружности, размерено и вычислено. Стрелы летят и врезаются в тела – куда же? – а на остриях яд. Кружатся насекомые, их отгоняют опахалами, но они настырны, они за нектаром. Тот в подземелье – подземелье скрытности, том, что в замке отчуждения, который в долине безверия за горами отчаяния. В стране зыбкости у моря беспамятства на материке вечного ожидания. Том, что крупнейший на планете безумия. Имя этому нектару – смирение. Я не пробовал его ещё, но мне обещали. С нетерпением жду, с нетерпением.

«Почему-то сын, не дочь... тоже вот, а почему? Я как-то даже не задумывалась... Потому наверно, что иначе быть не могло, всем ходом вещей предусматривалось лишь так, а не по-

другому. Где же выбор, почему его не было? Я понимаю сейчас, что у меня никогда и ни в чём не было выбора. Как всё-таки ужасно это, неподвластно уму, кошмарно: дать жизнь человеку, произвести из небытия... ежедневно видеть его, смотреть ему в глаза, слышать его голос – а потом, в один момент понять вдруг, что это всё блеф, обман, что его нет...»

Андрей трогает жену. Она лежит на кровати, он смотрит на неё сверху – она голая и желанная. Она до ужаса нравится ему сейчас и это немного странно —

Он взирает на неё с неким удивлением, будто открыв что-то доселе неведомое. Они иногда любят друг друга, но всё больше по инерции. Сегодня вот почему-то выходит более сердечно, и неожиданность момента ощущается сразу. Жёлто-синие дуги порхают меж стен, сливаются в кольца спирали. Меж ними искры и полосы света. То лучи, они бьют снизу, но источник невидим. Иллюзии цветов и их сочетаний. Дальтоникам не понять. Пластины наслаиваются одна на другую, идеальность их форм изумительна, они складываются в ромб. Удлиненные концы его – стрелки, они указывают направление. Двенадцать и тринадцать до старого дуба. В дупле – весточка, сохрани, пригодится. Ящеры ползают, ищут, но вверх не смотрят, не могут. Меж камней и трещин, некоторые глубоки. В стенах лазы, там можно укрыться. Женщина смотрит, молчит, заметен лишь блеск глаз. Она не тронется с места, пока не уйдёшь, а на ощупь – не найти. Лишь пыль, земля, да блеск – примитивная мистика, но средства против не найдено. Слои воздуха, сквозь них не видно, а пролезать надо так: сначала голова, потом левой стороной и так дальше. Женщина, почему ты рядом, кто призвал тебя? Я – нет, хоть и нужна ты, но без тебя лучше.

«Всё-таки сознание бесконечно, – шепчет она едва слышно. – Сущность не может исчезнуть совсем, она лишь изменяет формы. Значит, мы встретимся с ним когда-то и ждать осталось немного. Быть может, мы являем с ним что-то общее, вычерчиваем одну линию в безднах причинности. Серёжа, ведь ты должен слышать меня! Сыночек, мы скоро свидимся! Я скучаю по тебе, мне без тебя плохо. Пусть быстрее наступит то мгновение, когда я снова почувствую тебя рядом».

Краткость. Рассечение. Пропать.

– Знаешь что, – сказал вдруг Андрей и пристально посмотрел на жену. Она взглянула в ответ и замерла. – Знаешь, что я сейчас подумал?

Он схватился за голову, а мысль, она переполняла.

– Скажи мне пожалуйста, – шевелил он губами и ей стало страшно от его взгляда – он был полон ужаса и безумия. – Скажи мне... а был ли у нас вообще сын?..

Остановка. И мгновенная передышка. Утомление.

Жена отворачивается, медленно опускает голову на подушку и сжимается в комок.

«Я спать хочу, – отвечает едва слышно. – Устала очень...»

Он молчит. Он опустошён и потерян.

«Серёженька... – шепчет она. – Мой Серёженька...»

Забывшие чувства

СТЫД

Она была валетом крестей, он купил её у соседского пацана, довольно дорого. На ногах туфли и какой-то цилиндр на голове, а больше ничего. Она сидела в плетёном кресле, смотрела прямо и ухмылялась. Ноги задраны и согнуты в коленях. Пышные груди, большие соски. И густая чернота – она водила по ней пальчиком и так засняли. Складки, розовость, но даже если в упор – всё равно не совсем понятно. Отверстие, но можно и по-другому. Рана, нагноение. Кожа зудит и пылает. Она стонет и мечется, прижимается лицом к железным поручням и пробует их кусать. Ей больно. Полость увеличивается, опухоль разрастается. Уже полживота и до колен. Занялась спина и движется выше. Доходит до горла и поглощает лицо. Гниль, и кожа отваливается клочьями.

Вначале он носил её с собой. В нагрудном кармане. Одноклассники подходили: «Дрон, закажь на секунду?» Он доставал и, держа обеими руками, показывал, оглядываясь. Потом быстро засовывал обратно. «Чё так мало?» «Всё, хватит, засекут а то». Перед домом перекаладывал в учебник, под обложку – она была коричневой, непрозрачной. Совсем незаметно. Делая уроки, вытаскивал и любовался. Мама спрашивала из кухни: «Что задали?» «Два номера и упражнение», – отвечал он, а сам смотрел, смотрел. Когда мать выходила в зал, накрывал её тетрадкой. Сердце стучало, руки дрожали – стало даже нравиться. Он повторял раз за разом.

Он даже подрался из-за неё. Один пацан выхватил её тогда и побежал по коридору. Бежал, орал. Размахивал ею. Вокруг учителя, школьники – идиот. Он гнался долго, по всем этажам, но догнал. Возле двери в подвал. Пацан бросил её. Она упала на пол, в пыль, он подобрал, вытер рукавом. Дрались с ним отчаянно.

Стал прятать её дома. В туалете, за трубами. Бегал туда каждые полчаса, мама спросила даже: «Что с тобой? Заболел что ли?» Пришлось ходить реже. Раз в два часа, а иногда и в три. Самым мучительным стало – отсидеть в школе. Мчался затем домой, радостный – ещё немного, уже совсем скоро. Закрывшись, целовал её.

Самым лучшим, долгим – когда не было мамы. Он сидел тогда там час, больше порой, было здорово. Кресла качались, море плескалось, сияло солнце. Сначала он дотрагивался до неё быстро, в первые же секунды – не хватало выдержки. Но потом научился и удовольствие растягивалось. Она ложилась на топчан, он был вдалеке, он шёл к ней. Вскакивала вдруг и отбегала. А иногда не бежала, иногда становились длиннее дороги. Он шёл по песку, в пустыне, ноги вязли, или же в джунглях, там лианы, и обезьяны цеплялись за руки, он шёл всё же. Она дразнила и давала трогать другим. Он злился и распалялся. Она разрешала и ему в конце концов, как же, она не могла по-другому. Он прикасался, а она – к нему. Если тишина, никаких шумов за стенкой и в трубах не гудит – то получалось очень ярко и захватывающе.

Труба дала течь однажды, она намокла. Сильно текло всю ночь, она распозалась по пальцам, он был в отчаянии. Потом через тряпку водил по ней раскалённым утюгом. Она высохла, затвердела, но пожелтела, чёрт возьми! Пожухла как-то, поблекла. Но всё ещё являла, всё ещё манила, звала. Она и такой была хороша для него.

Хранил теперь её в книжном шкафу, в одной из книг, между страницами. Чтобы посмотреть, с умной миной доставал книги, делал вид, что читает. «Ты хоть понимаешь чего?» – спрашивала мама. «Понимаю, не тупой», – огрызался.

Ему нравилось её постоянство. Она всегда скалила зубы и ноги её всегда были разведены. А пальчик с длинным ногтём указывал верную дорогу. Бежали минуты, менялись состояния – она всегда встречала приветливо. Звала, уносила, но разрешала в итоге, разрешала. За это была достойна нежности.

Шла суббота, в тот день мама убиралась. Протирала в серванте, в шкафах. Доставала зачем-то книги. Из одной вдруг выпало что-то, опустилось на пол, лицевой стороной вверх, но боком как-то. Он был рядом, он всё видел. Мама уже наклонялась, рука тянулась, он сорвался вдруг с места. Опередил, схватил её с пола и вылетел из комнаты. Закрылся в туалете. Мама разглядела, поняла: «Ну-ка! Открой, негодник? Я тебе сейчас такой порки задам!»

Он рвал её на мелкие кусочки и кидал в унитаз. Потом спустил воду, но с первого раза все не потонули. Смывал ещё. Было жалко, ужасно жалко. До слёз просто. Он не плакал, однако.

Мама потом долго терзала. Бить, впрочем, не была.

СКУКА

У него не выходило, даже когда казалось, что удача близка и вот-вот комбинация сложится в логическую законченность. Заряды менялись вдруг, злорадная фея поворачивалась спиной и ужасная непредвиденность под названием теория вероятности заставляла костяшки складываться совсем иными цифрами. Досада вспыхивали тотчас же, хотелось ударить по столу кулаком и разметать эти гнусные прямоугольники в стороны. Он так не делал конечно. Поглаживал в глубокой задумчивости лоб и пытался вспомнить, в какой же момент он дрогнул. В какой момент складывавшаяся в верном развитии гармония искривилась и исказила свои линии. Обозначила углы и колкость. Эмоции мимолётны, ветрены, они имеют свойство забываться. Притворяться иными. Он вспоминал как будто, выявлял мгновение, но не был всё же уверен. Сомневался. Тяжело потом поднимался из-за стола, подходил к окну. Весёлые люди шли мимо дома, яркие автомобили проносились стремительно, листва шумела и искрилась солнечными бликами. Люди смеялись и ели мороженое. Переполненный мыслями, отходил он от окна и ложился на кровать.

У игры было два варианта. В первом надо было разобрать пирамиду. Всё домино сваливалось в кучу, смешивалось; по одной тянул он костяшки, строя конструкцию. Потом переворачивал. Первая линия самая длинная, наткнуться на тупик здесь было обидно. Но не обидней, впрочем, чем на всех остальных, которые были короче и ближе к надежде. Самым ужасным было проиграть у финиша, когда одна-две удачные цифры на костяшках принесли бы победу и завершение пирамиды. Увы, но цифры на очередном перевернутом домино всегда оказывались не те. Вторым вариантом был квадрат, четыре штуки клались на углы, с них начиналось. Начиналось разочарование – результат был идентичным.

«Силы зла, это они. Они выбрали меня ещё до рождения. Я ёмок, я объёмен. Хрусталь блестит в темноте, сам по себе, свет не падает. Чарами окутанный, хожу, они поблизости. Много теряли, отчаянны, жаждут возмездия. Разматывают нить не прямо, с изворотами. Руководства нет, явного, но помехи доступны. Затем выбор, потерянный куда же? В указанное и будет нравиться. В сжатиях, знаю. На скрещении. Но не обряды, не ими же. Можно, но натура испорчена, тянет на проверку. Угрюмость итогом, но кидаешься. Чтобы взмахом кисти, по мановению – от одного к другому, в третий, и все бы в плюс. И в принципе можно, ну а неровности? А дрожь? Они не так, не в лоб, не сразу, но это – пожалуйста. Пространства сужаются. Вынужден двигаться – поэтому. Знаешь, чувствуешь, а что можно. Но, но... Есть одно, возможно повернётся. Если да, то уж... Предоставьте только, откройте, я пролезу и в малое. Воспользуюсь минимумом. Самым мизерным шансом».

Он пытался не играть совсем, какое-то время удавалось. Но сущность ужасна, промахи забываются, разочарования подёргиваются пылью, а надежды снова гнетут вероятностью, возрождаясь. Он снова садился за расклад.

Один раз показалось – всё. Будто бы не может быть другого. Будто бы истина открылась, распахнулась, впустила свежесть и яркость... Но итог был тем же, несколько минут сидел он в трансе, теребя в руках эту злополучную градацию цифр – непостижимым образом они снова

оказались не те. Он подошёл к окну. Солнце было ярким, приветливым, небо голубым. Развесёлая парочка целовалась под самыми окнами взасос. Отрывались, хохотали, сближались снова. Он ловил моменты – из них узловый, ставший неверным. Один можно было вычленишь, но он знал – всё равно не тот.

Он бросился к столу снова. Разложил, перевернул первую, вторую... Тупик. Он начал заново; проиграв и в этот раз, разложил опять, потом ещё и ещё, но все эти не приближались даже к предыдущим раскладам; раздосадованный, бросил наконец никчемное своё занятие. За окнами жизнь всё так же кипела: дети возились в песочнице, радостные жёны дёргали за руки мужей, благодушные пенсионеры, шурясь, грелись на солнце.

«Причина во мне. Во мне самом. Я не могу переломить себя, переступить через что-то. Возможно дело в том, что неизвестно то, через что перешагиваешь. Но оно громоздко и вредно, раз не можешь. Оно преградило путь, перерезало дороги, но и назад уже не пойти, постоянно его толкать придётся, пока не найдёшь способ справиться. Если он вообще имеется. Но уверенность явная – проходы должны быть. Хватит ли времени? Всё дело в мыслях, их ходе, развитии. Оно не чисто, затуманено где-то. Это оттого, что чисто бы если, то секунды скользили непосредственно, и дрожания, вибрации засекались бы тотчас же. Звуки преломлялись, появлялась бы музыка. Мне кажется, кажется порой, что слышу её, но ведь не явно, с искажениями. Да и моменты мимолётны. Должно же быть чётко, сочно, должно быть постоянно. Должно проноситься сквозь и задавать направленность. Чувственность, ритмику. Тогда песчинки не станут ускользать из пальцев, а цифры в уравнении будут истинными».

Когда же наконец пирамида раскрылась и партия была выиграна, он долго сидел, всё так же потирая лоб, на этот раз – двумя руками, и был ещё более задумчив, чем при проигрышах. Он сложил домино ещё раз, теперь в квадрат, но и он раскрылся до самого конца. Уже с бурлившим в груди восторгом он разложил костяшки в третий раз и результат был тем же – они переворачивались все, уравнение складывалось, цифры притирались друг к другу без сбоек и охотно.

Он сдержался от бурных изъятий чувств. Лишь скромное удовлетворение, шептал себе, самое минимальное. Подойдя к окну, окинул взглядом улицу. Поначалу не происходило ничего, он засомневался было, но явь обозначила всё же свою перемену. Из дома напротив, из крайнего подъезда вышел облезлый мужичонка и прислонил к стене красную крышку гроба. Достав из кармана пачку сигарет, закурил. Чёрный крест на красном фоне был зловец и казался огромным. Именно его и не хватало, именно здесь. В этих домах, в этих окнах, между этих деревьев. Красного прямоугольника с чёрным знаком.

Облачко, оно пронеслось как облачко. Он стоял у окна, напряженный, прищурившись и наморщив лоб. Потом улыбнулся вдруг.

«Да нет, нет. Просто совпадение...»

И улыбнулся шире.

ЗЛОСТЬ

Мерзкая псина, когда всего лишь в одном, и отдаление манит, вокруг размеренность, ветер в спину и часто холод. У него пена, он бешеный. Рыжий, шерсть свисала клочьями, а кое-где свалилась. Грязь и наверняка личинки. Ярость. Напор – это и пугает. Он урчал и норовил вцепиться, слюна капала, и ещё глаза – в них отрешённость. Он из чуждых сфер. Они здесь же, поблизости, но вывернуты. Ходы имеются и варианты возможны, но чаще оттуда. Чаще монстры.

Происходило изо дня в день. Практически на том же месте. Пёс выскакивал, он не понимал – откуда, набрасывался. Прыгал. Целился в самое лицо, бывали моменты – зубы щёлкали в сантиметрах. Он закрывался руками, замирал, даже не дышать пытался – не помогало. Мимо

шли люди, шли спокойно, им позволялось. Не позволялось лишь ему. Он всегда знал о своей исключительности, она грела его, отрадно – собакам тоже известно, но почему же вдруг так категорично? И именно этот.

И он действительно терялся. Страх ли это – он не говорил себе страх – но он был явен. Он был чётко, он пульсировал внутри. Вокруг всегда было много псов, они бежали мимо, шаркались, некоторые урчали, но глухо, от таких можно было уйти. Некоторые лаяли, бросались даже, каким-то хватало смиренной позы, каким-то – одного замаха, какие-то были упорнее, но таких не было раньше. Он ходил пешком, он вынужден был. Он пытался наказать его поначалу, он знал – псы трусливы, один удар, хороший, крепкий, делает их послушными. Но тот ускользал, отбегал, он не попал в него ни разу.

А потом начал понимать. Не понимать точнее, чувствовать. Выход был, можно обойти – пятнадцать-двадцать минут, грязная жижа, осколки, арматура. Но чувство зрело, он продолжал здесь. В общем-то надо было лишь сто метров. Сто двадцать может. И не отворачиваться. Взгляд всё же сдерживал пса. Потом лай ещё этот – он был кошмарен. Особые волны, задевают нужное, но если сжать зубы, сжать крепко, то можно сдержать. Они вибрируют, готовы лопнуть, но можно, можно. И пятиться. Это как пытка, но их надо выдерживать.

Он становился упорнее. Пёс отставал в конце концов, но раньше тот конец казался невозможным и случайным, теперь же стал заслуженным. Раньше внутри стекала вязкость. По стенкам, бежала ручьями, капала. Но густела. Ещё стекала, но медленнее, потом стало казаться, что и вовсе нет. Что твёрдость и цельность. Казаться, но стрелка затаилась и циклы не менялись. И где-то подкрадывалось: а что если нет, а что если иначе. Он гнал прочь, он ждал. Это терпение, оно жестоко, но учит многому. Формы отливаются ребристые, края покатые, и весь состав идентичен, ни примесей, ни пустот. Шаг вспять навряд ли, но вбок возможен. Милое успокоение, убаюкивает. Там не то, оно не бегство. Поддашься – и может рухнуть. А так опаснее, потому что застыло и будет колоться. Разбитое вдребезги, отвергнутое, оно пронзает. Тут лучше с вязким – стечёт и всё, хоть и жалость. А твёрдое – нельзя терять.

В тот день он шёл там же, так же. Готовился, и привычка – он отмечал её в себе – она довольно безразличным делала. Но потом, после какого-то шага, закралось подозрение. Он продолжил, он двигался, но главного не происходило. Он и оглядывался, и удивлялся, он прошёл все сто двадцать, все сто пятьдесят, но пса не было.

Он не мог так уйти, он вернулся. Прошёлся в одну сторону, в другую. Посвистел, подзывая, помяукал – ничего. Досада, она обозначилась почему-то. Удивление, радость конечно, но и досада. Он сошёл на обочину, посмотрел под кустами. Потом то же самое по другую сторону и когда казалось, что всё ушло как наваждение, реальность обозначила итоги. Пёс валялся в траве, с полуоткрытой пастью, окровавленный. Грузовик, наверное он, переехал его пополам, из порванной шерсти выглядывали внутренности и рой мух копошился над ними. Он постоял, посмотрел. Совсем равнодушно. Прежде чем уйти, плюнул на мертвечину.

– Потому что я злее. Понял!

ЗАВИСТЬ

Он знал, что это произойдёт сейчас. Должно произойти. И она знала тоже. Или сейчас, или... Наверное, были всё же попытки и в будущем, но будущее он для себя уже вычеркнул – поэтому сейчас.

Он медлил. И был спокоен. Он чувствовал то напряжение, что ежесекундно нарастало в ней и почему-то ему нравилось это – он был вершителем судеб сейчас. Она же, его любимая, его добрая, его ласковая, она не торопила его – она подчинила свою волю ему.

Тикал будильник. Он пьянел от этого звука – «это последние, самые последние секунды», – разливалась по телу горячая истома. Они смотрели в окно, но время от времени бросали алчные взгляды друг на друга. Она была бледна.

«Она понимает меня. Она со мной. Мы умрём одновременно, в один упоительный миг; я хочу чтобы нас встретило небытие. Если же нет – что же, мы будем только счастливее, лучась в пустоте Космоса. Главное – не будет этих мерзких тел».

– Ты готова? – шепнул он ей.

Она вскинула глаза, широкие, красивые, мгновение созерцания их было истинным наслаждением. «Единственное, что было хорошего во всём этом – глаза. Но фрагментарно, они не всегда бывали такими». Утвердительно кивнула. Он достал из стола спичечный коробок, раскрыл его и вытащил две ампулы. Одну протянул ей.

– Это мгновенно? – дрогнули её губы.

– Да, почти.

Потом снова были секунды безвременья. Они сидели на кровати, он знал – надо что-то сказать. Почему-то щадил её – пусть последние секунды подольше, и всё такое. Это называется банальностью. И глупостью. Никакой пощады.

– Давай на счёт три, – наконец повернулся к ней.

Она лишь кивнула в ответ, без единого звука.

– Раз, – шепнул он.

Мир рушился. Трещины ползли по чёткости полотен, а кое-где возникали и дыры. Он дрожал уже.

– Два.

Сущее терялось. Оно нашлось, когда-то, почему-то, в его находке – больше несуразности, чем в потере.

– Три.

Звенья зациклились. Минус с минусом – только эта формула верна. Природа плохой математик, она постоянно делает ошибки. Не всегда исправляет. Ошибки исправляют сами ошибки.

Она поднесла ампулу к губам, поместила в рот и проглотила. Он исподлобья смотрел на неё, держа наготове собственную. Потянулся было к ней, но испытал вдруг непреодолимое желание вновь взглянуть на подругу. С виду она была почти спокойна, лишь глаза, эти прекрасные, горящие глаза выдавали. Она смотрела на него. Он снова попытался... но вдруг замер в оцепенении. Эта сдавленность в воздухе, это неумолимое тиканье, этот бесформенный комочек на ладони – а ведь не так всё должно заканчиваться!!!

С женщиной началась агония. Была она короткой и беззвучной – любимая упала на пол, дёрнулась два раза и затихла, вцепившись ему в ногу.

Ампула выпала из его рук и скатилась вниз, к ней. Он дико осматривался по сторонам – стены плыли и сужались. В ушах стоял гул, а язык шептал какую-то несуразную фразу.

«А может всё ещё ничего... А может всё ещё ничего... А может всё ещё ничего...»

Наверное, он даже не понимал, что шепчет её.

Отторжение настоящего

Упругие перекаты тёплого воздуха, волосы вздрагивали едва, но больше от движений – губы близки, желанны и послушны, они чужие. Темно, и лишь белки глаз ловили остатки ушедшего света. За её спиной где-то вдалеке, усечённые блики фонаря пробивались сквозь листву, но были робки они и старались не беспокоить их – это почти удавалось. Он уже отвык, отвык – и это хорошо – расщеплять секунды на чувства, полотно едино и цело, на нём лишь случайные неровности. Да и то от ветра. Пальцы на ткани. Это шёлк, а под ним упругость. Дыхания не хватало порой, они отрывались – передохнуть. Впивались снова.

Она отстранилась, отвернулась. Исчезла.

Музыка негромкая, но назойливая. В ней что-то тягостное, унылое, но и цельное: когда обрывается, мгновение страшно – что-то сушее улетучивается будто. Свет. Совсем призрачный, застенчивый. Желтоватые пятна, кроме них нет иллюзий. Темнеет, и с каждой секундой всё стремительней. В лесу сумерки как ночь, но разглядеть дорогу можно. Она сквозь кусты и по склону, камни шуршат, скатываясь. Сужается, мельчает, зарастает травой. Превращается в ниточку голого грунта. А потом и её нет, лишь на ощупь, держась за ветки.

Вот они, вот, эти тонкие флюиды. Оттого и мурашки – они раздражают поры. Облачко газа и тонкой плёнкой. Пыль не ложится и оттенок не блекнет. перевозбуждён. В груди клокочет, глаза слезятся. Последовательность в рассуждениях – она необходима, значима – но отсутствует. Сдавленность, неконкретность – шаги поэтому нервны, порывисты и несвязные бормотания. Бежать, потом остановиться. Всего лишь мысль, импульс, но преследует, как обречённость. Потерять рассудок и застыть. Судорога, доверись ей, спонтанна, сводит мышцы. В отчаянии на колени, лицом к земле и раздирать её ногтями. Рвать, вдавливая пальцы в упругий дёрн.

...я разорву кокон забвения и принесу к твоим ногам хрустальную чашу вечной молодости...

Правая сторона – пороки, левая – добродетели. Я – канатоходец, мне к тому шатру.

...сорву с неба луну и, разломив на две половины, дам одну тебе – храни...

Они пьянят? Нет, просто вызывают любопытство. И воспаляют веру. Ветер в лицо, оттого переступить непросто, но запахи – они в самом мозгу, они будут теперь жить там.

...я выйду победителем в битве и рассеку нить, что связывает тебя с запредельным – ты станешь явной, живой и моей...

Что-то шуршит, справа. Совсем недалеко, звук негромкий, но слышен отчётливо. Обрывается лишь на мгновение и словно ищет. Вокруг лес, дорога извилистая, поворот впереди и поворот сзади. Виден – не совсем верно, угадывается. Осколок луны над макушками деревьев, освещение ничтожное. Тут и вздохи, стоны, бормотания. Жутко, но опасность... что опасность? В этой череде реальностей он звено чуждое, поэтому в формулах не значится. Вне цепи и словно призрак. Картинка застыла, чернота преобладает, он всматривался. Секунды тянутся, листва колышется. Здравствуй, четвероногое? Годы и чувства сливаются в одно и оба испуганы в чашах их хранилищ. Серебряная полоска воды танцует перед взором и линия горизонта путает своей незыблемостью. Так хочется спать, но буйное желание будоражит ещё грудь. Ласковый комочек шерсти ластится к ногам, а глаза увлажняются. Связь больше, чем просто во взглядах. Молчание и статичность – они многозначнее слов и телодвижений. Особенно если надо передать слишком многое.

Сегодня не наша ночь...

Она была прикована к скале, на крохотном выступе, на нём можно стоять лишь на цыпочках. Море бурлило, вздымалось и неумолимо подмывало камень. Он уже шатался. Самые большие волны достигали её груди, вода была колюча и холодна. Она плакала. Но уже совсем без-

звучно – не хватало сил. Смерть порхала над её головой и была готова впиться в сердце своим ненасытным ртом. Девушке являлись видения – возможно она слышала голоса, и боль, жгучая, сумасшедшая боль близкого ухода разливалась по телу. Такое не обнаруживалось ранее на полотне её сущности, здесь что-то потустороннее, неземное. Пустота стояла за ней и чувствовался холод, но то лишь на миг, в другой за ней полыхали горнила вулканов и жар испепелял. Он спускался сверху. Он кричал ей, она не слышала – рокот волн заглушал его голос. Она даже не поднимала головы – она думала, он покинул её. А вода была неумолима и настойчиво совершала свою фанатичную работу. Он был близок, каких-то два метра, не больше, он торопился. Любимая отчаялась – она закрыла глаза, прислонилась вплотную к выпуклой поверхности склона и ждала мгновения. Он протягивал руки и почти касался её волос. Ещё мгновение – и ухватил бы... Большая, какая-то чёрная и злая волна ударилась, неистовствуя, о скалы и довершила начатое своими предшественницами дело. Камень наклонился, движение последовательно, он медленно отделился от стены. Прядь волос скользнула по его ладони, он сжал кулак – она там и осталась, между пальцев. Плавно удаляясь, камень с прикованной девушкой унёсся в бушующую стихию моря. Смерть издала победный вой и бросилась вдогонку. Он же... он же просто растворился.

– Я усталый сегодня. Совсем измождённый. Единственное, о чём мечтаю – отдых. Спокойные, уютные, бестревожные мгновения. Скажи мне, ты часто мечтаешь?

– Я не мечтаю. У меня нет для этого способностей, Я лишь злюсь и злорадствую.

– Я не должен позволять тебе говорить, я знаю. Частица неприкаянности коснулась тебя когда-то и область предвечного считается теперь твоим обиталищем. Иллюзии. Ты не знаешь, что такое ярость отчаявшегося сердца.

– Увы, мы с тобой по одну сторону. Мы оба сорвались когда-то со своей оси, не найдя новую. Искры в нас идентичны.

– Мне хотелось бы верить тебе. Но трудно. Сколько раз я был обманут, мне тяжело довериться иному.

– Мне не надо верить. Я – зло. Я бесчувственен и жесток. Я погублю тебя.

– Я какой-то чужой сегодня. Сам для себя; мне, впрочем, нравится это немного.

– Я создан для устрашения, ещё – для скорби. Ты можешь лишь скорбеть вместе со мной.

– Я буду скорбеть с тобой, я знаю, как это. Я скорблю всю жизнь. А еще я могу ненавидеть.

– Этим не удивишь. Ненавидеть умеют все. Из ненависти рождаясь, лишь ею и умеешь жить.

– Мне нужно лишь раздвинуть створки, сделать шаг. Я долго не решался на него. Неподвижность приятнее, но когда в груди пламя, я не могу переносить её.

– Клубок твоих ошибок распутывать тебе же. Незачем искать суть и смысл явлений, в них нет никакого смысла. Свойство забывать – оно не даром в нас. Пытаться вспомнить – грех. Ты пытаешься, ты несчастен.

– Я хочу быть самым несчастным – поэтому. Меня зовут глубины. Сладость падения ещё не ведома мне.

– Она не сладость, она – боль.

– А боль и есть та сладость, которой хочется всегда.

– Ну что же, ты получишь боль. Ты получишь столько её, сколько жаждешь и много свыше.

– Первая порция – твоя?

– Изволь, хотя моя боль действительно кажется сладкой. Она лишь упрочит тебя в твоей уверенности.

– Какая странная раздвоенность мгновения... Слова и образы – поблизости, но где-то выше. Ими хочется владеть.

– Слова я образы – моё владение. Я очень стремился к ним когда-то, а теперь обречён на вечную спаянность. Не надейся на них, они не помогут.

Они трещат и готовы сломаться. Присмотреться – но только вязкая плотность. И нет предметов. Она должна встать и подойти, сама подойти. Ночь всё прохладнее. И сомнение – верные ли действия, правильное ли решение. Ещё чуть-чуть. Минута, две, десять... Но вдруг ясно, зримо – это силуэт. Задержи дыхание, задержи. Девушка стоит у окна, обнажена, распущенные волосы спадают на грудь. Вроде бы на него, но куда-то поверх, сквозь. Буйная красота, дикий нрав и немного грусти. Грусть он добавил сам должно быть, у него была к этому склонность – добавлять во всё капельку печали. Она подносит ладонь к стеклу, упирается пальчиком, улыбается слегка. Сзади мужчина, его руки обвивают талию и скользят по груди. Она наклоняет назад голову, ему на плечо. Он целует её в шею.

Посередине, на разломе. Одна половина – сон, другая – пища. Можно перепрыгнуть, но теперь уже с разбега. Раньше просто перешагивали. С одной уют и тепло, что обманчиво, но греет. А на другой чаще бьётся сердце. Азарт – оттого не скучно. Явен, но желание чрезмерно. Почему так хочется двойственности? Или может просто не хочется единичности. В мире дубликатов проще, если твои они слепки. Если же ты чей-то... Половины разойдутся скоро. Ждать недолго: полусферы расстыковываются, в проём втискивается Космос. Уют остаётся, а мечта уходит. Уносится по другой орбите, согреваемая другим светилом. Постоянству же и размеренности огня не положено – они и так теплы. Они в полумраке, но глаза привыкают. И они хотели бы, они все хотели бы. Пусть мечта, но и беда, но и тревога – они гнетут. А так – купола, а так – не уйти, но и сам расхочешь, и понравится ещё, и будешь рад. Но то когда-то, через вязкость, а пока – вот оно, прыгай. И вариант в запасе – жутковат, но всё же. Отступление есть, а выбор – он всегда потеря. Но можно, можно всё же, можно и на другой половине в дрейф.

Потом бессмысленно блуждал по лесу снова.

...направленность моей воли изменилась. Я дик теперь, необуздан, я зол. И я знаю, к чему надо стремиться. Верить ли ты, что это будет? Мы оторвёмся с тобой от тверди, ты и я, мы воспарим в пространстве, как дуновение мысли и понесёмся туда, вглубь Вселенной, к самому её центру. Мы станем великими и бессмертными, мы будем сами гасить эти жаркие звёзды. Пространство покорится нашей жажде, а время умрёт от её ненависти. Зачем нам время, его не должно быть. Одно-единственное мгновение, превратившись в Вечность, станет началом и концом, а правильность гармонии будет определителем сущего: отправившись от одного, к нему же и будем возвращаться мы. Мы станем центром мира. Ты веришь, ты веришь, что это будет? Ты должна мне верить, ты должна верить в меня. Ведь я знаю, как достичь этого...

Их вовсе нет будто, звуков, лишь огромное безмолвие. Их слышишь всё же, потому что умеешь, потому что они хотят быть услышанными. Они. Они ещё далеки, ещё за пеленой причинности, но что для демонов узы хрупких сфер, когда месть вынуждает действовать.

Бежать, только бежать. Вперёд, там спасение. Здесь кочки и сучья, ломаются – под ними ямы. Дыхание вполне явственно, его узнаешь из тысяч, оно всегда жило внутри. Они крылаты, невидимы. Они как ночные тени – мчатся, скользя по струям, и деревья прячут листву от их холодных испарений. Бег – и пусть отчаянней, пусть беспорядочней. Стволы шершавы, а хвост влажен и глубок – в нём трудно передвигать ноги. Страх здесь же, рядом, не просто тусклыми образами пустоты демонстрирует своё присутствие, он душит, и с каждым шагом хватка всё крепче. Обессиленный, отчаянный. Надо упасть.

Буду лежать, пушу корни и возрасту в землю. Стану питаться её соками, а ещё дождевой водой – она будет впитываться кожей. Окаменею, покроюсь мхом, оплетусь отмершими травами, а потом начну заволакиваться грунтом. Так и останусь в верхнем слое Земли застывшей реликвией – свидетельницей старения планеты. Подвергнув анализу мою структуру, учёные будущего с поразительной точностью определят время дрейфования земных плит.

Колючая неконкретность – она шевелится опять. Анализаторы на взводе и рефлексия в разгаре. Они витали над, в промежутках между ударами слышались их нашёптывания. Они благодущны и веселы, они предвкушали пиршество. Слишком измучен, слишком обескуражен, решиться тяжело, лишь злость, лишь верная злость не оставила, не поддалась на измены трусливых чувств.

Удача моя, где же ты? Не выводишь к цели, гроздя темны и нет намёков на надежду и истину. Вокруг ярость, но во мне она горячее, она импульсивней. Я не хочу, я жажду.

– Пойдём, пойдём, – вела его за собой седовласая ожидательница смерти. Лишь лампой, что держала она в руках, освещалась дорога. Свет исходил недостаточный, отдалённые углы не различались. Старуха остановилась вдруг, нагнулась и, разбросав в сторону солому, приподняла тяжёлую железную крышку.

– Я ждала тебя всю свою жизнь, – шамкала она, – и думала уже, что ты – лишь миф. И вот, когда пора умирать, ты вдруг являешься... Тебе туда.

Это Космос. Может не сам, но таким и должен быть, обязан. Вот только капельки не светят. Глубина в глубине, отчаяние в отчаянии. Главное – попасть пальцем. Это трудно, но можно, граница есть, окружность очерчена и если присмотреться, то поймёшь. Всё оттого, что миллионы лет прошли уже. И не блестят, и не светлые. Потоки несутся вверх. Воздух ли? Им не дышишь, он не проникает, он повсюду. А ещё плавность, её давно хотелось. Танцы, они нелепы между плоскостями, они естественны в невесомости. Гибкость, изящество. И здесь же стремительность. Надо держаться центра. Давление, позволит ли? Порой холод и страшен он. Твёрдость, непоколебимость. Но огонь – он рядом. Он растапливает твердь, потоки лавы бегут по склонам и бьются нервные всплески языков. Смотри – это тени, а вот – облики. Опять застывает, но уже другим. Обезображенным. На самом деле она должна быть, такая сфера, чтобы замкнутость, чтобы постоянство, чтобы неизбежность. Эта ли? Когда-нибудь узнаю. Через миллион, может больше, но если не эта – узнаю. А если эта, то нужна вечность. Увы, не узнать. Здесь изгибы даже, она не ровна, дорога. Если сказать десять, а потом, чуть позже, девять, можно ли надеяться, что при единице – всё? Сейчас: восемь, семь – а ведь кружение, снова кружение. Закручивание, и если дольше, чем положено, то всё сминается. Шесть. Расслабленность и вялость: коснись забытого, ушедшего – вспышка, боль. Пять. Неподвижность, ощущение очень важно. Четыре. Не на полный, половина лишь – то ускорение, вниз. Три – объективность тягостна, но вездесуща. Всеобъемлюща. Два – неизбежность, только она ожидает. Один – уже один, а будет ли?

Жизнь в лесу тоже была сущей когда-то, вполне явственной, совсем реальной. Тебе кажется нет? – отнюдь, ты заблуждаешься. Эти воспоминания тягостны, они слишком медленно просачиваются сквозь коконы памяти; большей частью они не зрительные, а чувственные.

Вокруг вязкость, теплота. Слизь лезет в уши, в глаза и в нос, кажется – она везде, она единственна и безбрежна. Тяжёлые небеса люминесцируют красным. Некоторые сгустки на том покрывале совсем черны; отчаянными всплесками высвечиваются нервные всполохи огня. Жидкость мелка, но во все стороны. Взгляд долог. С краснотой неба – линия горизонта. Лишь светлое пятнышко, лицо едва угадываемо. Балансирует, но мгновения. Слизь тоже красна; истинный цвет наверняка иной – она неестественна, ускользает и режет глаза. Вроде бы кричал, бежал ещё. Нет, не надо! Лёгкий всплеск, на обочину и по склону. На середину, там ещё расходятся круги. Дно, а вот глина и ил. Я бы любил тебя. Жижка обволакивает и каждый шаг – мука. Ленивыми каплями влага сочится по лицу, стекает медленно и размеренно, ощущение мерзкое. Нырять и плакать. Лишь покалывание в уголках. Одежда намочена, потяжелела.

Голос высок, совсем чужд, он рождён из замкнутости. Люди движутся, ряды правильны. Они бесчисленны, отрешённые, одинаково скорбны, все безмолвствуют. Натыкаются. Головы опущены, им не поднять их. Пригнул, рывком на спину. Хрустит и топтать ногами. Пусть они

хрустят, хруста хочется больше. И рвать, рвать, рвать... Сошло стремительно, оно всегда так. Даже жалость. Он заглушил тотчас же, он умел. Тот брёл дальше, несчастный, он замер. Странный звук рождается вдруг в пространстве. Всё нарастая и усиливаясь, складывается в нестройный хор. Они действительно похожи. Проходят мимо, исчезают вдали. Бурление каких чувств, тяжесть каких мыслей? Опыт прожитых лет, жажда и хотение лет будущих?

Улыбнись мне, солнце. Помани меня, тайна. Покорись мне, сила. Я лёгок, я воздушен, я лучист. Я порхаю в заоблачной выси, в сфере вечной любви и счастья. Миг бездонен здесь, бесконечен и сладок, чувств нет. Лишь одно состояние – постоянство имя ему – царит здесь, и всесильно оно, всемогуще. Смерть сладка, как нектар, приложиться к источнику сладости и вкусить аромат – это ли не цель явственного? Бездной казалась она, ледяной и клокочущей, но лишь издалека, вблизи же перемена разительна. То не бездна, то океан наслаждений, окупись в него, в самую глубину и застынь там, и будь там, и будь постоянно. Он спокоен, океан – штормы не свойственны ему. Он покоится в безбрежности, он вечен. Океан тот и есть Великая Смерть. А она велика, без сомнения. Она двулика: она ужас, она же блаженство. Она безмерна и неохватна, её следует жаждать. Она чужда суеты и безумия, её сущность – покой, а покоя и хочется, и ищется, и требуется. Всплески волн, кажется всплески. Но не волны конечно, нет, просто не с чем сравнить. Распахнуться, расправиться и внимать. И вкушать, и наслаждаться. Ведь сладость. Чувств нет, то – аллегория. Потому что слова, слова ограничены. Лучше образы, но они интимны. Смерть – такой сокровенный. Его лучше держать в себе, его лучше созерцать и желать. И шептать: «Пусть же будешь всегда ты Владыкою, о, сладкая, о, кроткая. Властвуй повсюду, Прекрасная!»

А потом вдруг смена и словно пустота, но она наполнена, она опять шумит.

Улицы грязны и зловонны. Свет фонарей редок, а ветер носит по переулкам мусор. Бить по квадрату ногой и вроде бы слышится звон – осколки сыплются на асфальт и внутрь. Пролезть, пол мягок и похрустывает. Темно, железо прохладно. Не видно, но угадываемо. Да и надо ли – боль совсем не ощущается. Сердце замирает в предвкушении: кажется, он близок. Вот и толчок, свидетельство – оно у цели. Проём совсем низок, а в нише она. Одежда сгнила, ладони скрещены на животе, над самым разрывом. Мясо вывернуто наружу, края раны шершавы и мошки копошатся там. Слизь выколотых глаз стекала по щекам, застыла коркой. Спутанные волосы на черепе не плотно, мерзкие залысины словно узором. Куски кожи лохмотьями, из-под неё кости. Ноги раздвинуты и в лоне шевелится что-то мохнатое; заострённая мордочка высовывается из промежности, погружается снова. Ползают личинки, пиршество завораживает. Девушка улыбается. Может нет, может просто отъедены губы. Сердце стучит и до ужаса яростно. Не его, может... Крохотное оконце, куски стекла торчат, голова наружи, а нога соскальзывает, но находит наконец опору.

...подбери минерал к украшению, саван – к телу. Отдели спелые зёрна от гнилых и увядших, детей чистых от имеющих проказу. Чёрные земли вздымаются бороздами, тот запах, тот вкус – ешь её, ешь её горстями, жуй и глотай. Пора угрюмая, планеты в параде и метеоры бомбардируют океаны. Ты чувствуешь соль на пальцах? Соскобли её, она нужна для отвара. Его приготовить узнаешь как. Он – сила, он – слабость, он понадобится под чёрной звездой. В час однорогого буйвола в долине тучных стрекоз. При скрещении рубежей заката. К тебе прикоснутся засушенным лепестком, пепел сдуй...

Я в детстве боялся темноты, ты ведь знаешь об этом, папа? Теперь понимаю, что боялся не именно темноты, а себя в темноте. Ты ведь помнишь, где мы жили тогда? Какие длинные и извилистые коридоры были на этажах? И там никогда не горел свет. Я пробирался к нашей двери всегда на ощупь и иногда успевал проскользнуть в квартиру не повстречавшись со страхом. Это если кто-то был дома. Если же нет, то после долгих и безуспешных попыток достучаться, я забивался в угол, садился на корточки и начинал бояться. Я никогда не решался оставить этот коридор и выйти на улицу: мне казалось, что я должен пережить все страхи, что

мне не разрешено убежать от них. А страхи были сильны, они наваливались скопом и терзали, и мучили. Я не выдерживал: на глазах наворачивались слезинки, а потом и целые ручейки влаги стекали стремительно по щекам. К моменту, когда мы возвращался домой, я уже рыдал навзрыд. Ты был хорошим папой – ты никогда и ни в чём не упрекал меня. Ты просто открывал дверь, мы заходили внутрь и ты молча успокаивал меня, вытирая слёзы носовым платком. И я действительно успокаивался: страхи удалялись и казались совсем не опасными – хорошее настроение вновь возвращалось ко мне. Ты приносил из кухни тарелки с едой, включал телевизор и мы, развалившись в креслах, начинали смотреть мультфильмы.

...и чтобы стоял возле ложа и взирал величественно. Чтобы слуги с длинными, заросшими шерстью мордами толпились по сторонам. Чтобы взгляд казался холодным, но и искорки симпатии – они тоже угадывались бы там. Чтобы благородная осанка и многочисленные складки призрачных одежд.

– Я жестоко обманут и горько разочарован.

– Чем, сын мой?

– Пройти страшную дорогу испытаний, пережить столько мгновений боли, надеяться на чистое и святое, и в конце концов узнать, что мой отец ты... Стоило ли ради этого ступить на тропинку зыбкости?

– Я не руководил тобой. Ты сам выбрал направление.

– Это страшно. Это невыносимо страшно. Почему ты родилась во мне когда-то, надежда?

– То была не надежда, то было тщеславие.

– Мозг пытлив: он рождает химер.

– Тебе не стоит печалиться, сынок. Мы обрели наконец друг друга, мы должны быть счастливы отныне. Мы велики и нетленны. Ведь ты жаждал Величия?

– Не знаю... То было не со мной, то был не я.

– Сущего не изменить, положение вещей незыблемо. Ты смиришься со всем пришедшим, тебе понравится, я знаю.

– Да, мне понравится, я тоже это чувствую. Но мне грустно почему-то.

– Тоска – воздух наших жизней. Она прекрасна, я познакомлю тебя с ней.

– Я знаком уже с какой-то.

– Ты полюбишь её.

– Да, да, непременно.

И пусть следующие месяцы – как сам ужас. Их будет девять. Пусть уменьшаться – тело размягчится и обезобразится. Волосы исчезнут, а кости будут разжижаться. Барахтаться в маточной жидкости и не дышать больше. Пусть заклинания не помогут – время не повернёшь вспять. Линии тела смажутся, позвоночник скрючится. Уродливый зародыш – кусок разлагающегося мяса под тонкой плёнкой кожи. Пусть шевелит отростками, пусть рефлексирует. Потом распадётся. Лишь сгусток спермы, и неведомая сила потянет прочь, в узкое руслице члена, в зловещие коконы яичников. Мысль, оттенок чувства, слабый импульс ощущения – вот что нужно. Образ – необратимый и явственный, единственное дуновение его. Полюса передринутся, временные каналы – переключатся. Должен, его можно иногда. Ведь можно!?

Он был высок и строен, силён и красив. Черноволосый, голубоглазый – в глазах его, сливаясь, струились родники умиротворённой печали. Он ступал по земле твёрдо и уверенно – она вздрагивала от его шагов, но не решалась показать своё недовольство, ибо показала бы тем же и робость – она боялась его. Ветры ласково обдували упругие мышцы тела, а дожди не решались орошать почву без его разрешения. Иногда он позволял им неистовствовать: яростные, стремительные, капли неслись с небес и впивались в его кожу. Поры её раздвигались, впуская влагу. Он замирал и стоял так долго – в немом удивлении, в кратком восторге; живительная влага смешивалась с кровью и неслась по артериям, давая силы и успокоение. Дождь прекращался, небо очищалось, он садился на камни, прислоняясь спиной к скале и смотрел куда-

то вдаль, туда, где за белёсой дымкой горизонта небо сливалось с землёй. И сладкая ломота в сердце, и нежная прохлада, скользившая по конечностям, и лёгкое помутнение в голове – всё это умиляло его, а сознание того, что тело существует само по себе, без его воли, рождало в нём незванные фантазии и нечто совсем чужеродное – мысли. Он был единственным существом на Земле. Земля была гориста и горяча, лишь крохотными островками зеленели на ней очертания долин. Кое-где чернота скал прорезалась голубыми лентами рек, скапливавшихся в озёра. Повсюду царил тишина, лишь изредка звуки случайного камнепада разрывали её. Она была совсем крохотной, Земля, он без труда доходил до её края. Доходил и стоял там, долго, неподвижно, направив взгляд в бездну. Силы его зрения – а было оно изошрённо зорко – не хватало для обозрения дна: взгляд терялся где-то на чудовищной глубине, в тягостной серости тумана. Он хотел сделать шаг и желание было так велико, что казалось – секунда – и он сорвётся в эту пропасть тайн. Но что-то, что-то непонятное, лёгкое шевеление в груди, робкое вздрагивание крохотной жилки на лице, дуновение шаловливого ветра останавливало его. Он отходил от края и возвращался назад, вглубь своей маленькой страны. Но постояв над бездной раз, он не мог не возвращаться к ней. Он изменился теперь и понял это сам. Понял не разумом, понял сердцем. Он воспринимал мир как прекраснейшую данность и не ведал о существовании иных. Красота и радость – вот стихии, составлявшие его жизнь. Но теперь в нём зародились сомнения. Неудовлетворённость, тяга к постижению – то было непривычно и неприятно. Он не выдержал однажды, он сделал этот шаг. Он терпел сотни лет – Неизвестность одолела его. Он был любимцем богов. Но если неизбежному суждено запечатлеть свою явь во времени, они не в силах противиться этому. Таковы законы.

- Садись к костру! Ты весь промок.
- Как здорово, если бы я заболел и умер.
- Ты умрёшь, спору нет. Только не в ближайшее время.
- Спасибо. Я давно хотел, чтобы кто-то пожалел меня.
- Я никогда не жалею, ты же знаешь.
- О да. Я успел понять кое-что.
- Ты способный ученик. Самый мой талантливый.
- И единственный...
- И единственный. Но не потому, что других нет. Они есть, просто ещё не вылупились из личинок. Ты был первым и это не случайно.
- Почему-то гордости это мне не прибавляет. Тяжесть, рыхлость – это длится целые годы.
- Тебе кажется – годы?
- Больше чем. Я будто целую вечность живу с этим.
- Ты знаешь, а ведь это замечательно. Такое трудно было ожидать даже мне. Так оно всё и есть: целую вечность и именно с этим – как здорово, что мне не пришлось убеждать тебя.
- Но где же цельность, где плотность, почему их нет вокруг?
- Мысль вибрирует, она неустойчива. Я пока не могу лепить из неё статуи – поэтому.
- А бывает так, когда лишь отсутствие, лишь стойкость, лишь покой?
- Что ты! Я бы сам хотел этого, но сомнения – они велики, они посылают трещины.
- В один прекрасный день я вырвусь, исчезну.
- Не думаю. Но отнимать надежду не имею права.
- Это хорошо. Это хорошо, что я не вижу начал. Мой взгляд направлен вперёд, фантомы случаются, но слиться не могут. Я твёрд сам в себе, хоть ты и скажешь, что это не так.
- Нет, нет, почему же. Охотно верю.
- Я – по воле чувств и их веяний. Хоть и через чуждые каналы. Я – дитя Любви. Моя нежность естественна и прекрасна.
- В таком случае, я – дитя Гордости.
- Не только. Злобы, ненависти... Так мне кажется.

- Подкинь веток в огонь, он затухает вроде.
- Я не вижу никаких веток.
- Нет? Ну что же, сейчас он потухнет тогда.
- Пусть. В нём что-то страшное.

Город умеет дышать. Если хорошо прислушаться, дыхание его вполне распознаваемо среди прочих звуков, которыми наполнена пустота. Оно низкое и тягостное. Звуковая картинка в этих частотах красочностью не отличается, но даже на фоне общей невесёлости звуки его вдохов и выдохов особенно удручающи. К середине дня они становятся совсем беспорядочными, ночью немного успокаиваются, но всё равно тревожны и болезненны, и лишь под утро, в самые ранние часы рассвета, делается оно ровнее и благозвучнее. Всё от диссонанса – собственное дыхание являет собой саму Удручённость. Воздух светлеет. Контур здания вырисовываются чётче и пугливая Мистика исчезает. Пространство улиц переплетено тонкими паутинками, тонкими, но плотными. Она липнет к телу, паутина. Очень устал, а приходит – и усталость удваивается. Заветное метро, до него несколько шагов. Людей нет. Эскалатор шумит и неумолимо изливается вниз. Пусто и можно просто прислониться к колонне. Секунда, другая, но он слышен потом, этот гон. Вагон открывает двери, надо войти внутрь. Внутри – она.

Надо? Надо ли?.. Чувствуется, что да, а почему – непонятно. Ведь всё зациклено, всё последовательно; его, как и прежде, отторгнешь.

Он встал на четвереньки, пополз. Р-р-р-р, – рычал, а ещё пытался лаять. Она повернула голову, взгляд приятен, почти ласков, но и удивлён; она ждала. Он дополз до её ног, сжался и заскулил. Потом лизнул сапожок и робко взглянул на неё из-под усталых век.

- Можно, я буду твоим псом?

Неплохой конец для любовной истории

Она заговорила первой.

– Вы, наверное, тоже только вчера приехали?

– Позавчера.

Андрей приподнялся с гальки и переместился в сидячее положение. Девушка была весьма симпатичной. И казалась ужасно знакомой.

– А как вы определили? Белый потому что?

Она кивнула.

– Я тоже белая вся, стыдно показываться. Вон какие все шоколадные.

– Ну, они ведь тоже не сразу такими стали. Несколько дней – и мы с вами загаром покроемся.

– Несколько дней, кошмар!

Он рассмеялся.

– А вот мне всё равно как-то: загорю, не загорю – какая разница.

– Ну и зачем тогда сюда приезжать?

– Покупаться, воздухом подышать...

Она хотела что-то возразить, но не стала. Он тоже молчал.

– Сколько же вам лет тогда, – подала наконец она голос, – если вас уже всё перестало волновать?

– О, ужасные цифры! Когда произносишь их, не верится, что мог столько прожить... Но насчёт того, что меня всё перестало волновать – это вы зря. Меня много чего ещё волнует. Такие красавицы, как вы, например.

Она приняла комплимент с благодарной улыбкой.

– А всё же, сколько?

– Пятьдесят, – мужественно ответил он.

– Неплохо выглядите для пятидесяти.

– Не надо, – артистично вскинул он руку, – не утешайте меня. Пятьдесят – страшная цифра, особенно по утрам, когда спросонья вспоминаешь о ней.

Она тихо засмеялась.

– А вот я могу сказать, сколько вам лет, – продолжал он.

– И сколько же?

– Двадцать один.

– О, браво! Где вы так научились?

– Правильно?

– Правильно. Может ещё что-нибудь обо мне скажете.

– Вы студентка. Скорее всего вам осталось учиться ещё год.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.